П. М. АВРАМОВ

НИКИФОР КАЩЕЕВ

Издание «Родимого Края»
52, Avenue Flachat, Asnières (Seine)
1961

П. М. АВРАМОВ

НИКИФОР КАЩЕЕВ

Издание «Родимого Края»

52, Avenue Flachat, Asnières (Seine)

1961

I

Никишка Кащей, единственный сын почтенного казака — Андрея Ивановича Кащеева, был отчаянный головорез.

Еще задолго до отбытия его в полк, когда он принадлежал к категории станичных подростков и, стало быть, не был еще малолетком, вся станица окрестила его «арестантом» и иначе не называла его, когда заходила о нем речь. Что бы ни стряслось в станице зазорного, всему коноводом оказывался Никишка Кащей. Перевернут ли на колёсах черепушки с молоком, сломают ли дверной запор ледника, выкрадут ли оттуда сало, сады-ль отрясут — станичники твердо знали, что без Никишки тут не могло обойтись, а потому, подбиваемые бабами, на всю улицу жаловавшимися на своего «разорителя», шли к Андрею Иванычу и требовали от него унять сына.

— Андрей Иваныч, — говорили они. — Сократи, Христа ради, свово-то. Вить это, пойми сам, ффулиган какой-то! Право слово, житья от нево нету. Бабы в голос кричать, разоряить их окончательно Никифор. Добром просим.

— Не сократишь, сами сократим, — грозил кое-кто из жалующихся. — Толькя уговор — не пеняй посля́. По дружбе упреждаем.

Бедный Андрей Иваныч не знал куда деваться от стыда и только разводил руками.

— Пойми ты, милый человек, — отвечал он потерпевшему. — Не хватаить силов, ничево с ним поделать не могу. Я уж и порол ево, и в холодник сажал, и отцу Петру жалился. Повер́нется — и опять за свое.

И правда, Андрей Иваныч ничего не мог поделать с сыном. Позовет, бывало, Никишку после одной из многочисленных жалоб и начнет пытать:

— Признавайся, с... с..! Ты у Стратона Устиныча пробой выдернул и сметану из ледника унес, а?

— Брешить он, батяшка! — нагло отрицает Никишка и в упор, не моргая, смотрит искрящимися от смеха, красивыми черными глазами на отца.

— Ты брешишь, поганец! Знаю я тебя. Череѓ тебя людям нельзя в глаза смотреть, шарлатан ты этакой!

А Никишка усмехается.

— Зря ты серчаишь, батяшка, — улыбается он насмешливо. — Пущай они сначала поймають меня, а тада и говорять. Кто-то там наработаить, а сваливають все на меня. Сам знаешь — не пойманный — не вор.

Говорит Никишка, а красивое смуглое, с орлиным носом, лицо его сияет от еле сдерживаемого смеха, точно он издевается в душе и над потерпевшими и над самим отцом.

— Ах ты, с... с..!. — не выдерживает Андрей Иваныч, быстро схватывает левой рукой ворот сыниной рубахи, правой срывает со стены плеть и начинает «учить» Никишку.

Много раз учил старик непутевого сына и ниразу не слыхал, чтобы тот взмолился о пощаде. Закусит нижнюю губу чуть не до крови, так, что на ней долго потом остаются следы от зубов, покраснеет, как маков цвет, перекосится весь от боли и ни звука. Гордецом рос Никишка и великим позором почитал для себя распускать «нюни».

А однажды — дело было за два года до отхода в полк — Никишка, выкинувший какую-то особенно каверзную шутку над одним недолюбливаемым им соседом, предстал пред отцом для дачи показаний. Показания эти, как всегда, не удовлетворили старого казака. По привычке он потянулся было за плетью, но, встретив случайно взгляд сына, опешил: столько ненависти и злобы было в горящем взоре сына, устремленном на отца, что тому стало не по себе.

— Ты чево? — нахмурился Андрей Иваныч. — Грозишь?

— Бей, батяшка! — сквозь плотно стиснутые зубы прошептал, задыхаясь, Никишка. — Помни толькя: такова натворю — не рад будешь!

Угроза подействовала — протянутая за плетью рука Андрея Иваныча бессильно опустилась и никогда уж больше не поднималась на сына... С этого момента Никишка навсегда избавился от «лупки», но баловства не бросил — попрежнему «разорял» баб, опрокидывая в погребах кислое молоко, снимал там же пригарки с пресного, поставленного на лед в черепушках под каймак, мазал дегтем ворота у одних, в отместку за отклонение любовных авансов их дочкам, выпускал с базов скотину у других... И все это ночами, когда станица, утомленная тяжелым дневным трудом, крепко засыпала, не ожидая посещения «арестантов», руководимых неугомонным Никишкой Кащеевым.

Пытались его изловить, но тщетно. Слишком умело «работал» Никишка и неуловима была его шайка, подобранная из таких же молодцов, как и он сам. Понятны были негодование и ненависть хозяйственных казаков, грозивших «пересчитать» у Никишки ребра.

— Будет помнить, как разорять баб! Попадись только!

Зато зимой, когда станица в сборе и праздники позволяли казакам отдаться развлечениям, Никишка Кащеев вызывал неподдельный восторг у всех без исключения станичников своей бесшабашной удалью, кошачьей ловкостью и поразительной, беспредельной смелостью.

Если шли кулачные бои — в первом ряду своей стороны или стены, ловко работая кулаками, находился Никишка Кащей — раскрасневшийся, с горящими от упоения боем глазами, с папахой, съехавшей на правое ухо и с выбивающимся из-под нее на сторону преогромным чубом смоляных «висков». Девчаты аж визжали от восторга, видя, как их общий любимец, улучив момент, с силой ударял «в самую душу» своего противника, зачастую отца семейства, опрокидывал его на-земь и принимался за другого...

Если были скачки — на масленицу — никто так ловко, на полном карьере, не делал «вертушки», как Никишка-джигит. Тут уж и седобородые старики, особенно не любившие Никишку, ничего не могли сказать.

— Вот это джигит!

— Ишь, как выколашиваить, ечми ево в корень!

— Ай-да, Никифор! Молодчина, ешь-те мухи с комарями! — неслись из их рядов одобрительные возгласы и видно было, что джигитовка «забирала» и их самих: они топтались на месте, часто перебирая ногами, приседали и в всхищении хлопали себя по коленям. Если бы не лета — «рыскнули-б» и они джигитнуть, как Никишка...

Когда же дело доходило до призов и Никишка на полном карьере подхватывал с земли платки, с завернутыми в них, по всем четырем углам, медными пятаками, вся станица, от мала до стара присутсвовавшая на скачках, торжественно прощала ему все его шкоды

и искренно восхищалась дальнейшими его «номерами». А Никишка, с гиком и криком, размахивая над головой шомполкой, несся на вороном коне к пуку соломы и в нужную секунду, ловко изогнувшись в седле, стрелял в пук, зажигая его пыжем...

На военных маневрах, однажды устроенных перед самым великим постом, на которых задонцы-хуторяне «воевали» против «городских» — станичных казаков, не было равного по ловкости Никишке Кащееву. Любимым его «коленом» было изображать тяжело раненого во время конной атаки... Надо было видеть, как Никишка, несясь на «врага», схватывался вдруг обеими руками за грудь, выпуская повод и ружье, шатался некоторое время из стороны в сторону и валился из седла... Зрители ахали, разгоряченная лошадь, не чувствуя повода, мчалась полным ходом, а Никишка, повисев на стремени, за которое каким-то чудом держался одним носком сапога, выжидал момент, отрывался неожиданнно и, при новом вскрике толпы, падал в снег. Скакали «санитары», подбирали «ранетого» и наметом вывозили его из «боя», причем многие были убеждены, что «шутки довели до греха» и что Никишка на самом деле разбился при падении. Легко представить общую радость при виде смеющегося Никишки, самостоятельно поднимавшегося с земли и отмахивавшегося от услуг «доктора», усердно предлагавшего ему «скорую помощь». Вскочив на пойманного кем-то коня, Никишка, как ни в чем не бывало, снова бросался в самую кипень разгоравшегося боя...

Да, всех покорял Никишка своей отвагой, многое прощалось ему за удовольствие, доставляемое им ежезимно на станичных праздествах, но когда пришел его черед идти на «действительную», все, кроме разве девчат, вздохнули в станице с облегчением.

— Слава Те, Господи! — полушутя, полусерьезно крестились старые казаки. — Отдохнуть бабы от сво-во разорителя. Када вéрнется, глядишь, войдёть в разум, трошки остепенитца.

— Да он не вéрнется, — смеялись другие. — С ево развязкой рази возвертаются? Да-никада! Такие арестными ротами кончають. Отчаюга-вить!

Один Андрей Ивановыч со своей старухой сильно убивался, снаряжая сына. Он всплакнул, выпивши на проводах и все повторял Никифору, гордому и счастливому:

— Смотри, Никиша, не позорь отца, служи верой и правдой ево инператорскому величеству... Помни вседа, што ты казак... Не роняй честь и славу казачью... Не дюже забижай начальство... Будь человеком... Будешь человеком... и тебя начальство в обиду не дасть... к примеру сказать... уважать бýдить...

Слезы Андрея Ивановича, очевидно, тронули Никифора. Размашисто перекрестившись на образа, он пообещал обрадованному отцу не позорить на службе казачье имя.

С полгода ничего не было слышно о Никифоре. Потом из полка стали доходить слухи, что Никифор Кащеев балýет и бывает иногда даже в «отсидке»... Вести эти сообщили в станицу Никифоровы «полчки» в своих письмах и они встревожили Андрея Ивановича. Весьма обеспокоенный, он написал командиру сотни, в которой служил Никифор, слезное письмо, с просьбой «подтянуть и не дать в обиду сына». Недели через три был получен ответ. Сотенный камандир извещал Андрея Ивановича, что... «Никифор Кащеев — лихой казак, немножко, даже, черезчур лихой и в силу этого, приходится иногда наказывать его карцером. Но, ведь, это случается почти со всеми казаками»... В общем, письмо носило успокоительный характер. Андрей

Иванович перестал волноваться и на радостях выслал Никифору большую посылку...

Так и протекла почти вся Никифорова служба в полку. Андрей Иванович стал уже присматривать невестку на дом, как вдруг, неожиданно для всех, загорелась война.

— Ну, пропал теперича Никифор! — махнул рукой убитый горем старик. — Не сносить ему головушки, сразить ево немец!

Но судьба, казалось, берегла для чего-то Никифора — он вовсе не думал пропадать. Провоевав около года и получив за безумную храбрость три креста и две медали георгиевских, он, вместе с полком, в звании старшего урядника, благополучно отбыл в Питер, где его и захлестнула революция.

II

Что делал Никифор в Питере — трудно сказать. Сам он не любил распространяться на эту тему, но сослуживцы его рассказывали, что как только Никифор прибыл в столицу, он очень скоро «снюхался» там с какими-то «господами, должно, из студентов», часто стал пропадать по ночам из сотни, за что, между прочим, «жестокó страдал», и когда началась революция — «вдарился в политику»...

На расспросы, в чем же заключалась политическая деятельность Никифора, «полчки» отвечали:

— А он пропаганду пущал промеж нас. Отзовёть в сторону казаков, какие свободные от нарядов, и зачнёть чесать об революции. Революции, говорить, угрожаить великая опасность, буржуи, говорить, всючисточки власть позахватили, трудовому народу, который работящий, дыхнуть не дають... Надо, говорить,

нам — казакам, к большевикам прибиваться, большевики стоять за мир и за рабочий класс. Понятная дела, мы сильно сомневались, к какому — то-есть — берету пригребать... А совета спросить, вникнуть штобы, не у ково. Офицеры какие-то запуженые стали, в молчанку больше играли... ну, а мы сами... как кутьки слепые, тыкаемся носами, а толку нету — такая заварилась каша, ничево не разобрать... А потом глядим, Никифор, бутта, расказывал правильно. Керенский «до победнова конца» хочить, а большевики заявили обратное: «долой войну», «да здраствует мир» и не надобно нам никаких «анексиев и контрибуциев». Делать было нечево — повалили мы за Никифором. Он тада шибко в гору пошел: в депутаты попал, словом стал займаться политикой понастоящему, всурьез... Больше мы ево пошти-што и не видали — все в комитетах каких-то заседал, важный такой стал. Приедить, бывало, с комисаром каким — из евреев больше — скажить речь об трудовом казачестве и назад. Прощевайте, братцы, наше вам с кисточкой...

Подобные рассказы сильно смущали Никифорова отца — Андрея Ивановича. Как почти все старики в станице, он крайне сдержанно отнесся к перевороту, вызвашему отречение от престола царя и введшему в России новый «революционный режим». На все восторженные уверения станичной учащейся молодежи, что теперь начнется настоящая хорошая жизнь, он сомнительно качал головой и резонно возражал, что хорошей жизни трудно ждать раз началась «смятения» в народе. Порядка нет — ничего хорошего не может быть.. А потом — такую канитель заварить во время войны — виданое ли это дело? Немец-то... немец-то? Он, что-ж, смотреть будет?

Предчувствия станичных стариков оправдались быстрей, нежели они думали: фронт зашатался, ты-

ловые войска не только перестали слушаться офицеров, но начали даже убивать их, в самой России мужик не захотел ждать, когда ему добром отдадут землю и отбирал ее силой, сжигая помещичьи усадьбы и жестоко расправляясь с самими помещиками. Началось то, чего так боялись старики — анархия.

На Дону кое-какой порядок сохранялся и то недолго. Всеми делами в области стал ведать Круг. Он выбрал в атаманы геройского казака — генерала Алексея Максимовича Каледина. Хороший был генерал, всем старикам он пришелся по душе, но, как на грех, не полюбили его в России. Ни с того ни с сего, приходит оттуда телеграмма — выдать, мол, Каледина-генерала на суд Временному Правителству, он — говорилось — бунт затевает против власти... Конечно, не выдали. Отписали Керенскому, что так-мол и так, Каледин-генерал никакого бунта не подымал и подымать не желает, что это-мол чистейшей воды провокация. Так и написали провокация, что по-казачьи означает — самая что ни-на-есть вредная брехня. Уладилось это дело — другое началось: объявились большевики, свергнули они Временное Правительство и пошли войной на казаков. «Желаем, чтобы все казаки подчинились нам», заявили они. Каледин-генерал долго, говорили, не поддавался им, а потом, когда в станице была уже советская власть и красная гвардия очутилась под самым Черкасском, взял да застрелился — покончил, выходит, с обрыдлой ему жизнью. Потужили старые казаки о своем атамане да скоро и забыли о нем — такое кругом началось, что впору было самим вешаться... Первым делом, еще в начале декабря, вместо атамана в станице пустое место оставалось — никто не хотел становиться председателем ревкома. Выберут старика, а он отказывается, выберут другого — та же история.

— Не могу, — говорят оба, — с большевиками этими самыми поладить.

Бились-бились, уговорили под конец старого атамана. Взялся он председателем быть, но с условием, чтобы править станицей по старому, как при Временном Правительстве.

— Катай, нам по другому и не требуется. В самый раз...

Второе дело — эти самые большевики. Их порядком-таки набралось в станице и старикам стоило не малых трудов одолеть их на выборах революционного комитета. Особенной несговорчивостью отличались Питерцы — сослуживцы Никифора. Эти низачто не соглашались, чтобы председателем был атаман, только что перед тем ушадший в отставку.

— Он контра! — кричали они на сходе. — Нам не надо старорежимников!

Старики, однако, не уступали. Большевики попытались сорвать сход и подняли галдёж. Старики возмутились и приказали «товарищам» очистить майдан.

— Вы за большевиков? — спросил их один из стариков.

— Да, за большевиков.

— Ну-так и идите, туды вашу растуды, к своим товарищам в Питер, а нам не мешайте заниматься делами!

Дело чуть не дошло до всеобщей свалки. Все же, в конце концов, «товарищей» с майдана выгнали и не стало с тех пор спокойной жизни в станице. Начались ссоры, тяжбы, посыпались доносы. Старикам приходилось плохо, но они крепились и не сдавали своих позиций.

Андрей Иванович ясно видел всю несостоятельность станичных большевиков. Он не раз убеждался в том, что они ровным счетом ничего, кроме трескучих

слов не знают, не знают даже того, чего они хотят, и болел душой за Никифора.

— Неужто и мой такой? — с тоской спрашивал он себя и после долгих размышлений приходил, обычно, к печальному выводу, что... «Никифор, пожалуйшто, еще похлеще этих выйдет»...

— Гордый он и горячий притом. Ежели схватится за што — не оторвешь. Не зря про нево россказывають, што он речи говорить и на машинах раскатываить. Эх, горя-горькая!..

Сарик в письмах звал сына домой, но ответ — единственный за все время, — получил весьма уклончивый. Никифор писал, что он всей душой стремится в отеческий курень, но... «не пущает политика»... Рад бы, дескать да нельзя. «Туда, к святкам, можить и приеду», заканчивалось Никифорово послание.

Делать было нечего, Андрей Иванович вздохнул и решил ждать. Его сильно волновал вопрос: как Никифор отнесется к сложившимся в станице порядкам и не пойдет ли он против нее? Порой ему казалось, что Никифор непременно станет во главе станичных большевиков. В такие минуты он прямо не желал приезда сына.

— Как я буду тада разговаривать со стариками? Да они мне, как родителю большевика и доверять перестануть.

Так и жил Андрей Ивановыч с каким-то странным раздвоением чувств по отношению к сыну: он ждал его и боялся его приезда, ему хотелось поскорей обнять Никифора и срашно было — а что как Никифор не откажется от своей политики и вздумает проводить ее и в станице?

Наступили святки. Не в пример прошлым годам, станица провела их более чем скромно. Гульнули только «товарищи» и то не как следует. И если кто по-

настоящему радовался праздником, то это Яковлевна, старуха Андрея Ивановича, со дня на день поджидавшая сына и только об этом и думавшая.

Андрей Иванович, хоть и не мог всецело отдаться чувству радостного ожидания, так-как к этому чувству примешивалась изрядная доля опасения и даже страха перед Никифором — оратором и большевиком, но и он не мало волновался, когда по улице проезжали чьи либо сани — не Никифор ли?

Но вот Никифор, наконец, приехал и приехал, как это часто случается, когда его меньше всего ждали. Как-то в предвечерние сумерки, Андрей Иванович, только что управившийся с уборкой скотины, направлялся к куреню. Дойдя до рундука, он увидел какого-то человека, отворявшего калитку с улицы.

— «Кто бы это?» — подумал Андрей Иванович и громко спросил:

— Ково Бог несет?

— Сынка, батяша! — раздался от калитки звучный голос.

— Никиша! — забыв все свои страхи, вне себя от радости, вскричал старик и опрометью бросился к воротам.

Обнялись, расцеловались троекратно.

Андрей Иванович то отступал на шаг, окидывая счастливыми, полными радостных слез, глазами статную фигуру сына, то снова, смеясь от счастья, бросался к Никифору и крепко прижимал его к груди.

— А иде-же вещá твои? — спохватился он вдруг, отрываясь от Никифора.

— На подводе, батяша.

Тут только Андрей Ивановыч заметил сани, подъехавшие к воротам. В санях, кроме возчика, сидела какая-то женщина в шубе, с большим шерстяным платком на голове.

— Кто это? Попутчица?

— Попутчица, батяша, — усмехнулся Никифор. — На всю жизнь, — добавил он тише.

Андрей Иванович не слыхал последних слов, он уже подходил к саням.

— Здорово дневали! — приветствовал он женщину.

— Здрасте, — простуженным голосом ответила та и красными от холода руками стала развязывать платок.

— Дозволь познакомить тебя, батяша, — сказал, подходя, Никифор. — Это Дарья Ильинична, прошу любить да жаловать.

— Очень даже приятно мне, — любезно ответил Андрей Иваныч и засуетился. — Чево-ж мы ворота́ не растворяем? Ах-ты, Господи!

Вместе с возчиком он отворил ворота и не дожидаясь, когда сани въедут на баз, побежал известить Яковлевну.

Поднялась суматоха. Яковлевна до того растерялась, что не знала как ей быть и что ей делать. Хотелось всласть наглядеться на Никишу и некогда было — надо было поскорей приготовить что-то для угощения дорогого гостя, а тут поприбежали уже соседки, прослышавшие, что к Кащеевым приехал Никифор и с ним какая-то «краля». Эта «краля», собственно говоря, и заставила соседок побросать свои дела и предложить свои услуги Яковлевне. С их помощью потерянная и счастливая Яковлевна кое-как наладила приготовление ужина.

Пришло также много казаков соседей — и старых, и молодых — всем хотелось повидать служивого и порасспросить его о новостях. Горница, где Андрей Иваныч растапливал грубку, едва вмещала гостей, натащивших на валенках снегу — пол в горнице весь покрыт был грязноватой жижицей. Старики забрасыва-

ли Никифора вопросами, он весьма охотно отвечал на них и разговор не прекращался ни на минуту.

Среди хлопот Андрей Иваныч не мог принять участия в беседе, а как хотелось ему подсесть поближе к Никифору и поговорить с ним по душам! Ведь так давно не видались и так много воды утекло за это время! Но мешали гости, мешала и попутчица, эта Дарья... Дарья... Андрей Иваныч никак не мог припомнить ее отчества.

... Какая она расфуфыреная... Прическа, как у барыни какой, кверху взбитая, лицо «насурмленая», губы красные, будто, крашеные, кофточка не абы какая, а шелковая, по городскому сшитая... Ухмыляется и все на Никифора посматривает, нравится, должно, он ей... Еще бы... Кто она такая? И куда ее положить спать?.. А Никифор-то, Никифор... Еще «красивше» стал и важный какой. Ушел-то, ведь, в полк парнишкой, а сейчас не хуже офицера какого... Гутарит и глаза прищуривает..., а когда курит папироску, то чудно́ оттопыривает пальцы... Точь-в-точь, как адьютант из округа, что прошлым летом приезжал в станицу... И где это Никифор перстней золотых понабрал? Один, два, три... А мундир офицерский... с кармашками... Почем аршин такого сукна будет?.. И крестов на «грудях» нету... А-вить, заслужил, голову под пули подставлял, чтоб их получить... Чудно́ все это... О чем у них там разговор?..

Андрей Иваныч оставил грубку и стал вслушиваться.

— Андрей Иваныч! — раздался вдруг веселый окрик. — Магарыч надо бы?

Кричал «дружок» — сосед — Петро Федорыч Кандауров, веселый, приятного вида старик.

— Магарыч, говорю, надобно, — продолжал Петро Федорыч. — Радость-то какая! Двойная, можно

сказать! Приехал сын да не один, а с молодой княгиней. Следоваить проздравить!

Петро Федорыч прищурил глаза и кивнул в сторону попутчицы. Та с притворным смущением быстро опустила голову на плечо Никифора. Все весело рассмеялись.

Одному Андрею Иванычу было не до смеха. Его сразил дружок, открывший ему глаза на «попутчицу».

... Вот она какая попутчица... Ах, ты!

Чтобы не выдать своего волнения, Андрей Иваныч быстро вышел, почти выскочил из горницы. В стряпке около кипящего самовара хлопотала Яковлевна. Тут же перетирали чашки соседки, вдоволь наговорившиеся о Никифоровой «зазнобе». Яковлевна не заметила состояния духа Андрея Иваныча и озабоченно спросила у него:

— Иваныч, я-уж и забыла — как Никиша уважает больше яички — вкрутую или всмятку?

Старик внимательно посмотрел на жену, молча отвернулся от нее, чем ее несказанно удивил, подошел к дверям горницы и позвал:

— Никиша, подь-ка суда начас!

Никифор сейчас же пришел.

— Пойдем на баз, — потянул его за рукав Андрей Иваныч, — посекрету хочу сказать тебе кой об чем, а тут народ.

Выйдя на средину двора, Андрей Иваныч остановился и волнуясь, прерывисто, с остановками после каждого слова, спросил:

— Ай... в сам-деле... ты... Никиша оженился?

— Оженился, батяша, — спокойно произнес Никифор.

Андрей Иваныч вздрогнул, точно его ударили и не скрывая волнения, заговорил:

— А рази тебе, сынок неизвесно... што в таком

важном деле, как брак... вседа спрашивають совета и благословения родителей? Мы с матерью, выходить, тут нипричем? Неладно так, Никифор... Не ждал, што ты так обидишь нас с матерью на старости лет. Право слово, не ждал. За што такая обида?

Никифор молчал, зажигая папиросу.

— Не желаешь разговаривать с отцом? Хорошая дело.

— Нет, я желаю, — глядя в сторону, отвечал Никифор. — Только, зря все это.

— Как зря? — удивился Андрей Иваныч и даже отступил на шаг.

— Оттово зря, што не поймешь ты ничево.

— Это почему такое?

— Беда вся в том, што ты старик, а мы народ молодой. Тебе бы все по старому, а нам хочется чево-то поновей... Да што об этом толковать? Пойдем лучше в курень, холодно на базу.

Никифор повернулся, чтоб идти. Расстроенный Андрей Иваныч не удерживал его.

— ... «Времена пришли», — думал он, крупно шагая по двору и не замечая ни холода, ни того, что он был в одной рубахе и без папахи. — «Даже разговора весть не желаить, холодно ему... А я как вспомню, што надась невесту ему надумал сватать и намекнул, кому полагаитца, так меня в жар кидаить... Ах, ты»...

Когда после часового отстутствия, Андрей Иваныч вошел в горницу, он увидал Никифора, его молодуху, Петра Федорыча и еще одного старика пьющими чай. Остальные гости разошлись. Хмурый Андрей Иваныч подсел к столу. Увидав отца, Никифор, о чем-то с жаром рассказывавший, приостановился и весело крикнул:

— Не горюй, батяшка! Перемелется — мука будет.

Вот увидишь, полюбится тебе моя королевна. Она у меня хорошая.

— Как величать вас по имени - отчеству, забыл штой-то я, — не улыбаясь, спросил Андрей Иваныч.

— Дарья Ильинишна я, — хриповатым простудным голосом, с насмешкой ответила «королевна». — Какой он сердитый у тебя, Киша!

— ... Киша... Ах-ты, шкура! — с непонятной для него злобой, подумал Андрей Иваныч. Он нахмурился и замолк надолго.

Чаепитие затянулось.

Поминутно крутя черный ус, Никифор рассказывал про Питер и про новую, недавно там утвердившуюся власть. Речь его текла плавно, без малейших запинок и невольно чувствовалось, что все, о чем он говорит, было твердо усвоено им и не раз, должно быть, повторялось.

— ... Теперь жизня будет не такая, как при буржуях, — убежденно говорил Никифор. — Теперь власть перешла к народу, к пролетарию. Теперь всякие свободы у людей, чево хочешь то и делай, никто тебе слова поперек не имеет права сказать. И правильно! Довольно натерпелись, теперь мы сами управлять всем должны, а не белопогонники-офицерьё да помещики. И первым делом капитал надлежит уничтожить, штоб никаких сомнений у трудовова народа не было. Земля штоб к мужикам и трудовому казачеству отошла вся, а не оставалась у одних богачей. Ну, а потом социлизации-нацинализации разные уставлять придется, все для трудовова народа, штоб легше ему было жить. Большевики, как взяли власть, немедля объявили народу: все получишь, все дадим, но надобно обождать трошки, дай только заключить мир с германцами. А сычас, слыхал я, када уезжал из Петрограда, они уж переговоры повели, штоб, значит, конец кро-

волитию положить. Оно и понятно — народ не желает ни анексий, ни контрибуций — к чему тада война? Само собой, наперед всево, выходить, надо мир заключить при полном самоопределении всех народов...

Старики не перебивали оратора, часто вздыхали и пили по пятой чашке жидкого чая, с наслаждением прикусывая сахаром, привезенным Никифором. А Никифор все говорил, говорил, не умолкая ни на минуту и пуская в оборот такие замысловатые словечки, что слушатели его удивленно переглядывались — ишь, как загинает!

Коснулся Никифор и станицы. Узнав от собеседников, что во главе революционного комитета стоит бывший атаман, он даже руками развел:

— Да вы што, съума тут все посходили? — воскликнул он и, не сдержавшись, стукнул кулаком по столу.

Старики пожали плечами.

— Так вышло, Никифор Андреич, ничево не поделаешь теперича, — сказал, поднимаясь, Петро Федорыч.

— Покорнеюще благодарим за угощению, — поклонился он хозяевам. — А тебе, Никифор Андреич, за новости. Всем бы хороши они были да беда, што все, об чем ты гутарил, ждать надобно. А пока-што гасу-то в станице давно нету. Да и сахарком вот побаловались впервой за полгода... И порядку што-то не видать... Ты пойдешь, Михалыч? — спросил он второго старика, — а то вот вместях бы...

— Пойду, обожди чудóк.

Старики распрощались. Провожать их вышел Андрей Иваньгч.

Андрей Иваныч запропастился и долго не приходил. Пождала-пождала его Яковлевна и улеглась на кровати одна. Ей очень хотелось поговорить с мужем о

невестке, а потому, борясь с дремотой, она с нетерпением поджидала своего старика. Наконец он пришел. Яковлевна сейчас же зашептала:

— Дарья-то в Бога, кажись и не верить. Када садились и када вставала после вечеры, лба не перекстила... И гордющая какая... Молвить слово и губы поджметь, не по норову ей бутта все. Ох, Господь с ней, не люба она мне чевой-то... А Никиша какой говорок стал. А с лица не переменился, какой был, такой и остался. Поправился, сытый... Усы черные, глаза черные...

Андрей Иваныч кряхтел, беспокойно ворочался и вслушиваясь в шепот жены, думал:

— ... «Нехорошо получилося... Ничево не сказать и ожениться... Как же я ее пущу в курень? Кто она такая? Есть ли у нее што? Можить, шлюха какая?.. Да и похоже на то. Обморочила и командуить парнем... Питерская, бутта своих мало... А чево-ж я не спросил, када свадьба-то была? Розя я, розя. Да и ничево-то я толком не узнал... И Никифор молчить. Тут што-то не так...»

— Яковлевна, — шопотом спросил Андрей Иваныч у примолкнувшей на мгновенье старухи. — Не пытала, када свадьба-то была у них?

— Пытала-пытала, как же. На Николин день, за неделю, как Никиша ехать собрался.

— Та-ак... Эх, Никифор, Никифор, — тяжело вздохнул старик и снова задумался.

Только перед утром на полчаса забылся в легком сне Андрей Иваныч. Ему пригрезилось, что Никифор не желал с ним разговаривать, когда он, Андрей Иваныч, распрашивал его о свадьбе... А Дарья показывала ему язык и ластилась к Никифору... У-у-у, Питерская!..

Поднялся Андрей Иваныч ни свет ни заря и в дур-

ном настроении пошел на базы, там и провозился до завтрака.

За столом он сказал Никифору:

— Ну што-ж, Никиша, быть по сему делу. Расскажи-ка теперича, как вы свадьбу справляли в Питере. Гуляли, смотри?

— И рассказывать, батяша, нечево, — усмехнулся Никифор. — Пошли, заявили и все.

— Кому заявили?

— Комисару.

— Да я не про то, я про свадьбу пытаю. Ну, повенчались...

Дарья Ильинична неожиданно пырскнула и переглянулась с Никифором.

— Мы не венчались, батяша. По декрету советской власти можно так, в гражданском браке, все одно как в церковном, состоять, — сказал Никифор и засмеялся.

— Сошлись, полюбились и порешили жить вместе, вот и все, — добавил он.

Андрей Иваныч выпустил ложку из рук, широко раскрыл глаза и вдруг побледнел, как мертвец.

— Так вы... тово... вы не венчаные, выходит? — задыхаясь, прошептал он.

Дарья Ильинична снова пырскнула.

— Да нет же, говорю! Советская власть не признает попов, — не глядя на отца, с легкой досадой, проговорил Никифор. — Это все морока — попы, церквы...

Больше Никифор ничего не успел сказать. Андрей Иваныч, с налившимся кровью лицом, вскочил и сотрясаясь весь, надорванным голосом, в котором слышались и невероятная боль и страшное отчаяние, заговорил:

— Слухай суда, Никифор! Вот тебе мой сказ: ежли ты... сею же минуту... не уведешь эту... паскуду из

мово куреня... я ее сам... за волосья выволоку! Понял?

— Родитель! — с угрозой приподнялся с лавки Никифор.

— Брысь, щенок! — задрожал от гнева Андрей Иваныч. — Штоб духу твово и твоей б... не было! Вон отсудова!

Через час Никифор покинул негостеприимный родительский кров и переехал со своей «гражданской» в маленький хуторок, затерявшийся в зыбучих песках левобережной стороны Дона.

Станица долго не могла опомниться от подобной развязки и беспощадно осудив Никифора, жалела его родителей, на старости лет перенесших такой позор.

Через несколько месяцев станица восстала против советской власти, а еще месяц-другой спустя пронесся слушок, что Никифор «нанялся» к большевикам и вместе с ними начал «покорять казачество».

Опозоренный вконец Андрей Иваныч, не выдержав свирепствовавшей в то время в станице «шпанки», *) помер. За хозяйством после него стали надсматривать родные Яковлевны. Сама же Яковлевна, едва не помешавшаяся от горя, не выходила из церкви и все служила по своем старике панихиды да «в уме» просила Царицу Небесную вразумить Никифора и вернуть его в станицу.

Никифор вскоре вернулся, но вернулся таким, что Яковлевна долго ломала свою старую голову и никак не могла решить: Царица ли Небесная, в наказание за ее — Яковлевны — грехи, прислала домой Никифора или его, за те же грехи, принесла нечистая сила?

---

*) «Шпанка» или «испанка» — разновидность гриппа.

III

В одно серое непогожее январьское утро девятнадцатого года, ровно через сутки после того, как станичная администрация и население, не пожелавшее подчиниться надвигавшейся с севера советской власти, покинули станицу, оставшиеся казаки и их семьи были сильно заинтересованы странным шумом, поднявшимся где-то около правления. Похоже было на то, что там собралась большая толпа и что-то кричала, что — разобрать было невозможно за далью и из-за ветра, бушевавшего вчера и третьего дня, а теперь несколько стихшего и впервые за эту зиму по-настоящему принесшего с собой снег — ночью его выпало на целую четверть... Казаки, выбежавшие к плетням своих базов раздетыми, в одних рубахах и с обнаженными головами, напряженно слушали то стихавший, то снова возраставший шум далекого людского гомона. На их лицах застыло выражение чрезвычайного любопыства и явной тревоги.

— Уж не анчихристы ли, прости Господи, нагрянули? — всем видом своим спрашивали их насторожившиеся фигуры.

... П-па, п-па, п-па!., раздалось неожиданно несколько выстрелов.

— Они, штоб им провалиться!

Старики, бабы и дети метнулись по куреням. Базы опустели, точно вымерли. И если бы не тянувшийся из многих труб дым, тотчас же подхватываемый и уносимый ветром, да мелкая домашняя тварь — лохматые псы с поджатыми хвостами, гулявшие на свободе остромордые свиньи, куры, кое-где утки и гуси, — то станица казалась бы совсем брошенной, до того она вдруг обезлюдела.

В тех местах, где встречались наглухо забитые

курени, — а таких было около половины, — владельцы которых, махнув на все рукой, ушли с «кадетами», это впечатление заброшенности станицы подчеркивалось особенно резко. Тут уже не было ни одного, самого маленького признака жизни. Наоборот, от всего: от забитых досками ставень, от больших висячих замков на входных дверях, от самих куреней, вполне пригодных для жилья и необитаемых — веяло какой-то мертвенной скукой, могильным забвением и грустью. Точь-в-точь, как на кладбище. С тою разницей, что кладбищенские кресты и намогильные камни никогда и ни у кого не вызывали вопроса: почему они тут поставлены? А эти мертвые курени, эти пустынные базы, с растворенными настежь воротами, с зиявшими издали черными пастями сарайных входов — криком кричали при одном взгляде на них: почему мы мертвы? почему пустынны? почему ворота у нас растворены настежь?

Но надо оставить на время кричащие о своей заброшенности курени и вернуться к *живой* половине станицы. Население ее, услышав выстрелы, забилось по куреням и выжидало событий. Ждать пришлось недолго: сначала с криком и бранью пронеслись по улицам верховые, а потом раздался набат. Сомнений больше не было — в станицу вступили красные войска... И надо идти на майдан...

... Что-то скажут «покорители» вольного казачества? Должно быть, приказы будут читать, объявят, конечно, советскую власть, комитет заставят избрать... Ну, что-ж? Надо терпеть... Не сумели ублюсть свою волюшку — в покорности надо жить... Должна же быть какая-нибудь власть? Или наша, или советская. *Ихняя* пересилила, значит, на время придется покориться, а без власти никак нельзя. Тридни пореши-

ли на сходе не выбирать комитета, а когда ушел атаман — как без рук остались...

С подобными мыслями направлялись старые казаки к станичному правленью. Там они увидали отряд красной кавалерии, занявший станицу. Численность его не превышала полусотни. Присмотревшись к ним повнимательнее, старики узнали в них своих же станичников-хуторян, в прошлом году присоединившихся к большевикам и с ними воевавших против «белых». Среди них оказалось несколько человек из самой станицы. Эти разъехались по домам, а остальные, куря и перебрасываясь шутками, с конями в поводу, стояли около правленья и от холода выбивали сапогами чечётку на мерзлой и твердой, как камень, земле.

Гордость, а также то, что у огромного большинства стариков кто-нибудь да находился в «кадетах», не позволяли им расспрашивать «товарищей» и, понурив головы, они проходили прямо на майдан.

Но кое-кто из них подходил к большевикам и вступал с ними в беседу. «Товарищи» были настроены весело. Они охотно выслушивали стариков и еще охотнее шутили над ними.

— Чево доброва привезли вы нам, ребятки? — спрашивал старик.

— Социлизм и комуну в торбе, — весело отвечал кто-либо из красных казаков.

— А в кармане декрет Ленина.

— А в руках плеть от Троцкова...

Под веселый хохот присутствовавших, на старика сыпался настоящий град «товарищеских» острот.

Старик сдерживался и когда смех умолкал, снова спрашивал:

— Не, окромя́ шуток, што новенькова слышно у вас?

— Новенькова захотелося? Старенькое, видно, надоело?

— Ты не чеши язык-то... толком отвечай, када тебя спрашиваютъ, — сердился старик. — Не забывай, паря, што новенькая не веда бывает новенькая. Побудет-побудет, а там, глядь, в старенькую обратитца... Смотри, кабы с тобой такова не случилося...

— Да ты, товарищ-старик, зубастый. Иде зубы точил?

— Када комуну вашу грыз, — в тон отвечал старик.

— Хо-хо-хо!..

— Сладкая она?

— Перцу дюже много.

— Ай, чох напал?

— Напал... и доси ишо чхаем, — отвечал дед и добавлял:

— Не перчите дюже, ребятки, а то так чхнем, што у вашева Троцкова кишка лопнет!

— Ну-ну, — останавливали разошедшегося старика «товарищи». — Про Троцкова ничево не моги говорить. Услышит товарищ-командир — враз заарестует.

— А кто ваш командир?

— Товарищ Кащеев.

— Да-ну! Никифор?

— Верно тебе говорю. Знаешь, небось?

— Как же не знать! Знаем, знаем... все знаем. Бывалыча в холодник нельзя было ничево ставить через нево. А в прошлом годе, об эту пору, покойный родитель ево из дому прогнал за какую-то гражданку. Иде она теперича? Не с ним, часом?

— Тю-ю! Он давно развязался с ней.

— Эй! Кто там есть из стариков? На майдан идите! — кричали с правленского крыльца.

Майдан был наполовину пуст. Не было совсем баб,

обычно присутствовавших на тревожных сборах, не было и детишек. Лишь несколько подростков, кутаясь от холодного ветра в отцовские поддевки, танцевали на пороге и не знали где им лучше быть: тут ли, на майдане, или на улице, возле «красных товарищей».

Старики и казаки помоложе — последние поотставали от своих сотен и всего несколько часов назад вернулись в станицу — были сумрачны. Все уже знали, что «начальством» оказался Никифор Кащеев и всем хотелось поскорей увидать его. Хорошего от него не ждали, знали его гордую натуру и на всякий случай готовились к самому худшему. Сговорились, между прочим, больше помалкивать и «не дражнить чорта».

В дверь атаманского кабинета, куда с самого приезда в станицу заперся Никифор, входили и выходили казаки его отряда, цепляясь за притолоку дулами винтовок и гремя на пороге шашками, раскрасневшиеся и веселые. Ближе других стоявшие к дверям старики заглядывали в кабинет, стараясь розглядеть, что там творится, но кроме клубов табачного дыма да широких спин «товарищей» ничего не видали. Наконец, дверь кабинета широко распахнулась и на пороге ее выросла знакомая всем статная фигура Никифора.

Он мало в чем изменился за последний год: то же красиво-надменное, дерзкое лицо, тот же проницательный и «сурьёзный» взгляд черных насмешливых глаз, та же манера встряхивать головой перед началом и во время разговора... Одет он был в офицерского покроя полушубок, крытый сукном цвета хаки и отороченный по обшлагам и на груди барашком, на затылке у него чудом держалась барашковая же, под серый каракуль, папаха с красной звездой вместо старой кокарды, сбоку, на широком ремне, в кобуре желтой ко-

жи, висел ноган, шашка, без наплечного ремня, прицеплена была к поясу.

Никифор с усмешкой окинул взглядом собрание и сделал два крупных шага вперед.

— С новым годом и с новой властью, товарищи! — громко, звучным голосом, произнес он.

— Спаси Христос! — так же громко ответил за всех один из стариков. — С прибытьём, Никифор Андреич!

— Спасибо, старик!

Никифор продвинулся еще на шаг и подбоченился.

— ... «Ну, держись... начинается»...

Старики, опустив головы, завздыхали.

— Чевой-то, как погляжу, не все поприходили встреть меня, а? — с убийственной насмешкой в голосе заговорил Никифор. — Не вижу я многих г о с п о д стариков.., — Никифор сделал ударение на слове «господ». — Где Василь Никандрович Бецков? Где Иван Петрович Забазнов? А Чурилин где — Самойло Игнатич? И много еще г о с п о д стариков нету. Уж, не захворали ли, часом?

Сход молчал. Стало до того тихо, что слышны были отдельные тяжкие вздохи.

— С кадетами они ушли! — крикнул кто-то сзади.

— Га!.. И ево благородие — господин атаман ушел? Казначей, случáем, не остался?

Сход упорно молчал.

Никифор продолжал «измываться»:

— И казначей уехал? И денежки народные с собой прихватил? Краснову-генералу представить их захотел? На, дескать, тебе, г о с п о д и н атаман всево великова Войска Донскова кровные наши, потом добытые денежки... Хорошая, товарищи, у вас власть была — сама убегла и деньги забрала с собой.

— А тебя, видать, завидки беруть? — перебил насмешливый голос.

Этот возглас послужил сигналом к общему оживлению. Старики заволновались, пошушукались между собой и сразу, как по команде, стихли. Вперед выступил совсем седой старик и обращаясь к ставшему серьезным Никифору заговорил медленно, солидно и совершенно спокойно:

— Вот-што, милый ты человек. Оставь ты, ради Христа, в покое и старую власть, и нашева атамана, и казначея с деньгами. Не в деньгах дело. Я к тому говорю, што какая бы власть ни была, она все заберетъ, када уходить будет. И деньги наперед всево. Рази Подтелков ваш, када ево выгнали из Ростова, не увез миллъёны николаевских денег? Куды бы они пошли, соблюди он их? На народ? Ох, што-то, грешным делом, не верю я! Наши же деньги, добытые потом, как ты сказал, казначей не украдётъ, не такой он человек — эта свой человек! — а потом — с ним полстаницы. И выхóдить, што в случáе чево, доньги на народ и пойдуть... Вот! А теперича, брось-ка ты насмехаться над нами и гутарь, как с людьми, а не как со скотиной. Зачем созвал нас? Ежели штоб насмехатца — так мы не хочем этова и разойдемси. Ежели толком чево объяснить желаешь — послушать тебя рады. Так-то, милый человек!

Под конец речи старика Никифор вдруг вспыхнул, как порох и рука его дернулась к револьверу. Но только дернулась. Он во время спохватился и обведя налившимися кровью глазами майдан, хрипло закричал:

— Ага! Вы так со мной? Атли-чна! Пущай будет по вашему! Слушайте меня все: с сево дня я установляю в станице советскую власть. Командовать всем буду я сам. Через неделю приедут комисары, они рас-

скажут вам про советские порядки, как и што. А я... а я разговаривать с вами не желаю! Все вы контр-революционеры и старорежимники! Это вы, господа старики, восстание против народной власти сделали! Я все знаю! Вы хотели отнять у народа власть и передать ее белопогонникам и всякой другой сволочи!

— Мы не отымали у народа власть! — прервали Никифора возмущенные голоса из толпы. — Это вы ее у нас отымаете!

— А мы хто тебе — не народ?

— Мы могём установлять власть, какая нам по душе!

— Мы за казачью волю стояли!

— И ищо постоим, коли так!

— Довольно! — во весь голос крикнул Никифор. — Не шумите дюже, товарищи, не испужаете!

— Мы тебе не товарищи! Мы казаки!

Схода было не узнать. Насколько вначале он был тих и покорен, настолько сейчас шумлив и беспокоен. Среди невообразимого галдежа, поднятого возмущенными стариками, выделялись отделные голоса, выкрикивавшие весьма нелестные замечания по адресу Никифора и самой советской власти.

Никифор нервно кусал нижнюю губу и стоял перед гомоневшим майданом насупившийся, со скрещенными на груди, сжаьми в кулаки, руками.

— Ладно! — крикнул он, дождавшись некоторого успокоения. — Я так и буду знать, с кем имею дело. Я командир отряда красной конницы и я приказываю вам нынче же, к вечеру, представить список граждан станицы, уехавших с кадетами. Список представить мне на дом. А тебе, Михей Степаныч, — обратился он к выступавшему с речью старику, — я никада не забуду твоих слов. Попомнишь ты меня.

Никифор по-военному повернулся налево-кругом и окруженный «товарищами», вышел на улицу.

Оставшиеся старики поволновались еще немного и разошлись, решив ничего не делать, что бы ни приказывал зазнавшийся «каратель» — это против своих-то! Это может показаться странным, но в душе старики надеялись, а многие были уверены, что Никифор, как бы ни «хорохорился», вреда большого никому не сделает. Как-никак, все же он станичник и как местный рожак не посмеет сделать худого, рука у него не подымется на своих. И эта надежда у одних и уверенность у других и объясняли ту смелость, какую выявили на сходе старики. «Своему», хоть он и большевик, можно всю правду-матку сказать, «свой» все вынесет, даже оскорбительные для него выражения, брошенные в «сердцах»... Ну, пошумит трошки и все. Другое дело, если «карателем» оказался бы чужак, скажем к примеру — матрос, все равно какого моря — Балтийского или Черного... Перед таким «карателем» старики наверно вели бы себя сдержанней, потому что он не поцеремонился бы с ними и тут же, на майдане, перестрелял бы их всех...

Однако, события следующих дней показали, что если Никифор не мог походить на чужаков, то и «своим» его назвать было трудно.

Пока, ночь прошла спокойно. Красные казаки не дебоширили вовсе. Наоборот, вели себя скромно, держались все вместе и не расседлывали коней. Боялись, должно быть, возможного налета «кадетов». Дозоры их всю ночь провели за станицей, бдительно охраняя дороги, по которым могли подойти «белые».

IV

Никифор сдержал слово. Так-как станичники, в силу принятого на сходе решения не исполнять приказов «карателя», не представили ему списка бежавших из станицы хозяев, он решил список этот составить сам. А попутно, чтобы не терять понапрасну времени, произвести опись оставленного контр-революционными беглецами имущества.

— Зачем это? — спрашивали Никифора старики — отцы нескольких красных казаков из отряда.

— На предмет конфискации, — важно отвечал Никифор. — Советская власть завседа отбирает имение у тех, кто ей не подчиняется. И у наших старорежимников все должно быть отобрано.

— Все?

— Все до-чиста!

— Позволь, как же это получаитца? А ежели они вернутца? — недоуменно спрашивали озадаченные старики.

— Это меня не касается. — равнодушно отвечал Никифор и, посвистывая, смотрел по сторонам.

— Как же будут жить их семьи, беглецов-то? — допытывались старики. — Вить у мнегих семьи-то тут, в станице. Помирать, стало быть, с голоду?

Никифор начинал хмуриться. Ему надоел неприятный разговор и он решил прекратить его.

— Я командир конного отряда, что мне приказывают, то я и делаю. Сказано, контрам пощады не давать и не дам. Я человек служебный и должен поступать по дисциплине.

Старики поняли, что разговаривать с Никифором все одно, что слепому показывать какую-нибудь картинку и отошли прочь.

— Упорный человек, не сдвинешь ево, — качали

они головами. — Заладил одно, што он служебный человек и все. А нет тово, штобы на ум взять: как же малых детишков прокормить? Чем они виноватые перед советской властью? Беда!..

— У нас-вить белые ничево не брали. А между прочим — сыны наши в красной гвардии состоять. Это не резон.

Никифор, между тем, приступил к делу.

Во главе «поверочной комиссии», составленной им из шести вооруженных казако своего отряда, на глазах у всех, он входил на баз наиболее зажиточного из беглецов и начальническим тоном приказывал сбить замок у дверей куреня и отворить ставни. Замок немедленно сбивался, с треском отдирались доски, которыми были забиты окна, и комиссия входила в дом. Кто-либо из членов выдвигал на средину горницы стол и ставил около него два-три стула. Никифор, смахнув рукавом полушубка пыль со стола, торжественно усаживался, раскладывал принесенную с собой бумагу и, сделав на листе химическим карандашем размашистый заголовок: «Опись движимого и недвижимого имения гражданина..., — он вписывал имя беглеца, — на предмет конфискации, по случаю сочувствия и даже бегства в контр-революционнай стан», начинал опись.

Сразу было видно, что Никифор не новичек в этом деле. Он, как говорится, набил руку и на описях и на конфискациях, не зря прослужил он у большевиков больше года. Если член комисии пропускал какую-либо вещь, он указывал на нее карандашем и спрашивал:

— А это говорил?

— Да чево ее записывать? Нестоющая вещь... Пустяковый предмет, можно сказать.

— У советской власти ничево не может быть пустя-

ковова. Говори все, все пригодится, — строго приказывал Никифор и опись продолжалась уже безостановочно.

Внутренность описываемых Никифором куреней наводила тоску своим нежилым видом. Совершенно свободные от всяких вещей, кроме столов и стульев, комнаты; во многих местах сильно поколупанные стены — это растерявшиеся хозяйки, не зная толком, что нужно забрать с собой в дорогу, в спешке посрывали со стен семейные «патреты», которые валялись, в большинстве случаев, тут же, на полу и на столах; непокрытые ничем столы, пустые кровати, пустые же шкафы, комоды и горки: все это, верно служившее владельцам и почитавшееся ими необходимым, казалось теперь странным и ненужным в брошенном, нежилом доме... Вот комод из обыкновенного соснового дерева, покрытый темно-коричневой краской, с белыми блестящими ручками. Ящики его все выдвинуты, в них какое-то скомканное тряпье... Или забыли или бросили... Вот горка, она высится почти до потолка. На верхних застекленных полках ничего нет, но нижняя «глухая» дверца заперта на ключ. Уж не туда ли старая казачка запрятала весь свой «хрусталь»? Может быть. Впрочем, Никифор наверное узнает, есть ли что в нижней части горки или нет. Это, ведь, на его обязанности лежит все осмотреть и все записать...

На всем в куренях лежала печать внезапного отъезда «контр-революционных» хозяев. На кроватях — старые латанные рабочие «портки», пара-другая заношенных дырявых валенок, стоптанные, в заплатах, чирики... На столе в стряпке куски пирога, глиняные миски, забытый нож... Тут же, под лавкой, желтеют огромные кабаки — «тыклы» и стоит кубышка... Табуреты у стола так и говорили вошедшим, что хозяева только-что позавтракали и на время вышли во двор...

В уголку возле печки прислонены рогачи, кочерга, чапли и пирожная лопата... На загнетке и под нею — горшки, «горшочики» и черепушки. Этого не увезешь, это слишком хрупкое и в дороге непременно побьется...

В горницах та же картина спешки и растерянности. Разные картинки в рамках, несколько книг, детские безделушки, шанки, лампы без стекол, опрокинутые стулья, угольник и на нем забытые образа святых... В переднем углу висела должно быть, «дорогая» или «благословенная» икона. Ее нет и лампадка висит перед пустым углом, густо заплетенным пыльной паутиной...

В комнатах зябко, воздух успел уже застояться и насквозь пропитаться пылью, поднятой в спешке, когда от растерянности все передвигалось, переворачивалось, перетаскивалось по несколько раз...

Когда Никифор описывал все в курене, он спрашивал своих помощников:

— Ничево не пропустили?

— Кажись, ничево.

— А на подловку лазили?

— Лазили. Ничево не обнаружили.

— А базы осматривали?

— Обсматривали. В анбаре два мешка нашли — с просом и с гирькой.

— Больше ничево?

— Овса с меру...

— Ах, туды их.., — грубо ругался Никифор и шел на баз.

Почти во всех амбарах, кроме одного-двух мешков зерна, он ничего не находил.

— Не может этово быть, штоб у такова богача ничего не было! Не иначе — сродственнички вычистили, в рот им дышло! И до них доберусь. У меня больше

нормы никто не получит, всех уравняю. И скотину распределю за первый сорт.

Ругаясь, Никифор переходил на следующий брошенный баз.

В некоторых куренях, заколоченных как и все, комиссия не нашла ничего, кроме кроватей и столов. Полезли на чердак и нашли весь скарб, вплоть до рогачей, сложенным за отводом трубы. Описали все на месте.

Вряд ли сам Никифор верил в то, что затеянная им опись имущества «старорежимных» казаков могла пригодиться советской власти. Начал он ее не во исполнение предначертаний свыше, о чем у него, несомненно, не было — как говорят казаки — «документов», а из желания «насолить» станице, при первой же встрече устроившей ему скандал, запугать ее, показать ей кто он такой и что он может сделать. Словом, похвастаться захотелось Никифору Кащееву своею властью и поднять свой авторитет, так быстро и глупо оброненный на майдане. Для того же, чтобы вся разыгрываемая им комедия казалась внушительной, он вооружил членов комиссии винтовками: пусть знают все, что в случае надобности, он, Никифор Кащеев, не остановится и перед применением оружия. Но этим он ровным счетом ничего не добился. Он только еще больше раздражил станицу, которая скоро и показала ему, что она не особенно боится ни его самого, ни его «товарищей».

Описав и опечатав за день десятка два брошенных куреней, Никифор приступил на следующее утро к описи имущества тех казаков, у кого в станице остались семьи.

Ветер, беспрестанно дувший около трех недель, наконец, прекратился. Было тихо и хмуро. Выпавший прошлой ночью снег белой пеленой покрывал надвор-

ные постройки и почти нетронутый — не успели изъездить его — лежал широкими белыми полосами на улицах, со стежками по обочинам, утоптанными пешеходами. Никифор был в прекрасном настроении. Он беспрестанно сыпал шутками-прибаутками, находившими незамедлительный отклик в его окружении, равнявшемся на «начальство». Опись начали с Пановых, из которых дома остались сама Паниха, ее снохи и пятеро детей. Вот тут-то произошло то, что окончательно погубило авторитет Никифора и послужило толчком к зарождению новых отношений между ним и станицей, отношений, в которых уже не было внутреннего чувства родства, общего доселе обеим сторонам. Никифор переступил границу и с этого момента, раз и навсегда, перестал быть «своим» в большевистском обличье. И для Никифора стало очевидным, что отныне и он сам вынужден вести себя по отношению к своим станичникам, как стопроцентный большевик, вроде какого-либо латыша или матроса, не считаясь с родством, что доселе несомненно проявлялось во всех его поступках, несмотря на его чисто словесные издевательства и грубость...

Прежде всего заголосили бабы. На крик сбежались соседки, за соседками потянулись и казаки. И скоро курень, где заседала комиссия, был окружен большой толпой, сумрачно наблюдавший «работу карателя».

Обстановка для Никифора и его комиссии создалась совсем иная, нежели вчера, когда никто из станичников даже не подошел к тем куреням, какие описывались. Казаки, случайно проходившие по улице, только усмехались, видя «товарищей», ныряющих под сарай и шарящих по амбарам. Один из них не выдержал и спросил:

— Чево вы ищете здеся, товарищи?

Не получив ответа, он засмеялся и пошел своей дорогой. Он отлично знал чего ищут Никифоровы «орёлики» и спросил лишь для того, чтобы подразнить их.

Не то сегодня. Паниха воет, сноха воет, детишки ревут... Говорят Панихе:

— Покажь, мы только запишем.

Паниха еще пуще голосит. Возьмутся сами открыть сундук, она цепляется за руки и не «пущает». Никифор смотрел-смотрел, плюнул и сказал:

— Вот вредная баба! Чорт с ней! Пойдем к Тюрморезовым. К этой в другой раз зайдем.

Комиссия вышла из куреня. Толпа баб и стариков, сгрудившаяся у самого рундука, молча расступилась перед «товарищами».

— Чево собрались? — сердито спросил Никифор.

— Поглядеть, как ты с бабами воюешь, — насмешливо ответила молоденькая румяная казачка. Никифор узнал Настю Слепухину, дочь Ивана Слепухина, тоже числившегося в беглецах.

— Смотри ты у меня, я тебе погляжу, — погрозил он ей пальцем.

— Таких, как ты, я видала да через себя кидала! — смело отрезала Настя.

Бабы пырскнули и зашушукались, старики заухмылялись.

Никифор свинул брови, но это еще более рассмешило баб —они открыто и громко «закатывались» в смехе.

— Ерой вверх дырёй!

— Бабий подлипала!

— А иде твоя гражданка? С ней бы и воевал! — посыпались восклицания.

— Разойтись по домам! — гневно крикнул, по-

краснев, как бурак, Никифор. — А то силком разгоню!
— Сам разойдись!
— Тю!
— Улю-лю!
— Командир какой нашелся! Ты своими товарищами командуй!
— А-а, чорт! — выругался Никифор и, выхватив ноган, выстрелил два раза вверх.
Толпа дротнула от неожиданности, но сейчас же оправилась и продолжала стоять на месте.
— Разойдись!
— Некуда нам расходиться, нам и тут хорошо, — с прежней насмешкой в голосе, крикнула Настя Слепухина.
— Коль тебе не нравитца — уходи, и мы останемся.
— Стрельни ишо разок, а то мы не испужались.
— Хи-хи-хи...
Под насмешки развеселившихся баб и улыбки стариков, комиссия вышла на улицу и направилась к следующему двору.
— Ну, теперича надобно наблюдению иметь, — серьезно произнес один из стариков.
Толпа стихла.
— Тюрморезиха так и заявила, што ежли к ней придет какой чорт именью забирать, она ево кочергой съездить.
— Она изделаить, баба рр-яшительная, — подтвердил кто-то.
— Надо не допустить, штоб Никишка обидел ее. Пойдем туда.
— Пойдем. Бабы, идите!
Толпа перешла на баз Тюрморезовых.
Сначала в курене было все тихо. Потом там произошла какая-то возня, послышались голоса, что-то

глухо говорившее и под конец донесся пронзительный женский крик:

— Карау́-ул!.. Гра́-бю-у-уть!..

Вслед затем, из куреня на крылец, с криком и плачем, выскочила растрепанная старуха в одной легкой кофточке и в юбке из разноцветных кусков материи. В руках у нее была кочерга, ею она исступленно тыкала в «товарища», выталкивавшего ее во двор. Седые космы старухи спадали на ее морщинистое заплаканное и гневное лицо, мешали ей, но она не оправляла их и, усердно работая кочергой, кричала во весь голос:

— Вот тебе! Вот тебе, лобастый чорт! Получи-ка! Получи-ка! Вот тебе!

— Так ево! Бей ево! — весело закричали из толпы. — Ишо! Ишо! Не подгадь, Степановна!

«Товарищ» защищался от кочерги, выставив вперед винтовку. Звенело в морозном воздухе железо о железо, слышались вскрики задыхавшейся от ярости старухи, сквозь них прорывалась порой ругань красного казака, не ожидавшего попасть в подобную переделку...

— Душегубы проклятые! — вопила на всю улицу Тюрморезиха, вытесненная, наконец, наружу. — Мало кровушки казачьей пролили, анчихристы. Добро пришли грабить... Уходите отсудова, поганцы, штоб вас горами задавило!

В толпе раздались возмущенные возгласы. Казачки застрекотали, как сороки, и обрушились на смущенного красного казака, загородившего своей плотной фигурой вход в курень.

— Ты юбку надень, а портки скинь!

— Вояки! С бабами, со старухами по тылам воюете. Ни-на-што другое не гожи!

— Ты-б на фронт лучше шел да там махал ружьем!

— Там тебе показали-б, как надо воевать!

Тюрморезиха, видимо, собралась с силами. Она повернулась к толпе и, положив щеку на ладонь правой руки, поддерживаемой в локте левой, раскачиваясь всем корпусом вправо и влево, высоким звенящим голосом запричитала-запела:

— И чево-та они у мине там д-е-е-лаю-ють... И везде-та они ле-е-зуть... И все-та они упи-исываюуть... И все-та... гутарють... атбире-ом у тибе... И чево-ж я, горемычная, буду дие-е-елать... И чем жа я буду кормить своих де-е-точков...

Причитанье Тюрморезихи далеко разносилось в стылом январьском воздухе хмурого утра и скоро привлекло внимание всех, даже далеко живущих от нее, станичников. По улице, сразу ожившей, показались и побежали к ее куреню дети, бабы, старые казаки. Бывшая во дворе толпа удвоилась и доходила до сотни человек. Казачки, со вздохами и покачиванием голов, слушали печальную арию в сольном исполнении старой Тюрморезихи, импровизируемую ею с захватывающим слушателей драматизмом... Старики стояли у плетня отдельной кучкой и тихо переговаривались.

— Затните ей глотку! — раздался резкий голос и на крылец, отстранив «товарищей» вышел Никифор.

За ним, перепутанные на-смерть, размахивая рукавами, выскочили две дочери Тюрморезихи и с криком бросились к матери.

— Опять народ! — с досадой сказал Никифор и поморщился. — Разойдись по домам! — так же, как раньше у Панихи, приказал он. Глаза его загорелись нехорошим огнем.

— Сам разойдись! — в одно время ответили ему несколько бабьих голосов.

— Не доводите меня до греха, — мрачно бросил Никифор. — Плохо будет, если рассердюсь я.

— Ты тоже не доводи нас до греха.

— Перестань разорять людей, тада разойдемси.

— Не расходитеся, бабочки, не расходитеся, родненькие, так и будем за ним, за дьяволюкой ходить! Пущай помучитца с нами... У-у-у, сатана, анчутка толстомордая! — со злобой закричала Тюрморезиха и потрясла кочергой.

Остыв на морозе, старуха дрожала от холода. Но при виде своего «клятова» врага, она забыла об всем и, оттолкнув цеплявшихся за нее дочерей, с бешенством набросилась на невольно попятившегося Никифора.

— Все записал? Все? Довольна типерь твоя душенька? — выкрикивала она, потрясая кочергой. — Разорил и радуисси? А ты наживал имению-то? По какому закону ты по чужим сундукам лазиишь? Нету такова закону! И ты фулиган и разбойник! У-у-у, анчибил!

— Замолчи, старая! — рассвирепел вдруг Никифор и грязно выругался. — По советскому закону...

— Вот што я хотела делать с твоим законом!

Характерным жестом, вызвавшим дружный смех в толпе, старуха приподняла сзади подол своей разноцветной юбки.

— Не надобно нам твоих фулиганских законов! — продолжала кричать Тюрморезиха, не давая Никифору вставить слова. — У нас свои законы имеютца, всю жисть по них жили... А он — по саветскому закону... Какой - такой саветский закон?

Никифор молча повернулся, вошел в курень и вскоре вернулся со всей комиссией.

— Разгоните-ка, ребята, народ, — спокойно произнес он.

«Товарищи», все шесть человек, вскинули винтовки и дали залп, целясь поверх толпы.

Тюрморезиха живо юркнула в курень мимо Никифора, за ней ее дочки. Бабы, гуртясь, замерли. И при втором, третьем и четвертом залпах, давя друг дружку, визжа и падая, бросились к воротам. Снова залп, снова просвистали пули над головами перепуганных людей и двор опустел. Только у плетня, как стояли, так и остались стоять человек двадцать старых казаков.

— Вот здорово! — рассмеялся Никифор. — Всех вымели! Никово не зацепили?

— Да-нет! — похохатывали в ответ красные казаки. — Не впервой разгонять, дела привычная...

— Пойдемте домой, — притворно зевая, сказал Никифор. — Надоело возиться с этими делами.

При выходе на улицу, Никифор приостановился и, обращаясь к кучке стариков, с молчаливым презрением смотревших на него, сказал:

— Это ваша работа, господа старики. Это вы натравили баб. Припомню... и скоро. А пока, наше вам почтение! — Он зло смотрел на бородатых станичников, ожидая от них возражения. Но те, отведя взоры, молчали. Никифор хмыкнул и, круто повернувшись, направился с «товарищами» к станичному правлению, снова превратившемуся в ревком.

А через короткое время на соседних базах замелькали мужские фигуры и по одному, незаметно, стали накопляться на дворе Тюрморезихи казаки. В руках они, как бы невзначай, держали кто вилы, кто лопату, кто просто увесистый дрюк.

— Убил ково? — тревожно спрашивали вновь прибывшие.

— Бог миловал, обошлось без пролития. Он так, пужал толькя.

— А я на базах чевой-то делаю, слышу — пальба. Што такоя, думаю себе. Гляжу, а моя старуха на всех парах летить. Никишка, говорить, в народ пуляить. Што за оказия, сдурел он што-ли? Я как был с вилами, побег суды — не защитю ли, думаю, — рассказывал, волнуясь, низкорослый плотный старик, поглаживая седую бороду и прокуренные донельзя усы.

— Што с ним сделать, с супостатом? — спрашивали некоторые. — Тридни всево, как приехал, а уж нету житья от нево. Опись, стрельба... вить это раз-зор!

— Ничево, — ободряли таких старики, с самого начала наблюдавшие происшествие. — Он теперича не будет описывать. Баб напужал да и сам напужался.

— Правильно вчерась Михей Степаныч гутарил, што надобно баб на нево натравить. Бабы народ зубастый, враз острамять ково хотишь.

Старики покурили, посмеялись над тем, как Тюрморезиха «отшила карателя» и разошлись.

Днем разнеслась по станице весть, что Никифор Кащеев устраивает вечером бал на своей квартире — он поселился не у матери в отцовском курене, куда он ни разу не зашел, а отдельно. Никто, однако, не получил приглашения на этот бал, кроме родных «красного казачества» да тех из иногородних, кто сочувствовал новому режиму.

V

Как-то незаметно наступили холодные ранние сумерки. И скоро на притихшую после дневного шума станицу опустилась ночная тьма. Заволоченное низкими тучами небо не посылало сверху никакого света,

будь то даже мерцающий свет звезд, слабо доходящий до земли, но свидетельствующий, что не все вокруг мрак, что есть какие-то светлые точки, на которых может отдохеут, уставший от разлитой вокруг темноты, взор. И если бы не снег, впервые по-настоящему выпавший в эту на редкоть бесснежную зиму и смутно белевший на упицах, не различить бы и самих улиц и приходилось догадываться, что по обе стороны от этих неясно белеющих снежных полос тянутся ряды молчаливых невидимых куреней. Ходить в такую ночь нелегкое дало. Надо вооружиться костылем, чтобы как слепец, нащупивать перед собою дорогу. Иначе непременно наткнешься на какое-либо, скрытое тьмою, препятствие — плетень или забор, из-за которых забрешет вдрут, отрывисто и хрипло, потревоженный шумом пес. И так идешь, вытянув вперед руки, боясь споткнуться и упасть. Все черно кругом, все слито с тьмою, никакого просвета впереди... Понятна поэтому та радость, с какой обнаруживает взор редкие полоски света, падающие на улицу из кое-где освещенных окон. Слава Богу! Не все еще спят в станице, имеются еще в ней живые существа, кроме разбуженных случайным прохожим псов. Что делается за этими, еле светящимися, но кажущимися яркими в ночном мраке квадратными «кружками» окон, так далеко видными и так обрадовашими ночного прохожего человека? Сидят за столом, собравшиеся после скудной вечёры старые казаки и при коптящем «каганце», за цыгаркой дрянного табака-«самосада» ведут нескончаемый разговор о тяжелой жизни, наступившей в богатых недавно станицах? Обмениваются в откровенной, «задушевной» беседе — бояться некого, все люди свои! — последними новостями и, сквозь всю неразбериху завязавшихся неразвязным узлом событий, ищут какого-то выхода? Подобно путнику, заблудив-

шемуся ночью в пустынной степи и только и мечтающему, как бы поскорей наступил день, чтобы он смог найти потерянную дорогу?.. После ночи неизбежно наступает день... Ничего на этом свете нет вечного... Все приходит к своему концу... Но что принесет вновь наступивший день?.. И вновь обретеная, утерянная ночью степная дорога — куда приведет она?.. И какой будет всему этому конец?.. Вот вопросы, над которыми, быть может, ломают головы старые казаки, собравшиеся на тусклый огонек у соседа...

Но может быть, это «красные казаки» из «каротряда», стоящие в освещенных куренях и дующиеся в «очко»» под пятаковские денежки к великой зависти нескольких станичных парней, не могущих принять участия в игре, так-как в их «портмонетах» ничего нестоющие сейчас донские бумажные рубли?.. Может быть. Но лучше не заглядывать в редко освещенные курени и не пытаться розглядеть, что происходит в них. Лучше будет — возможно быстрей, насколько позволяет темнота, пройти мимо них, дойти до правления — теперь «ревкома», свернуть направо и за первым улом небольшой улочки разыскать «квартеру» Никифора Кащеева — у него, будто, сегодня вечером «бал»... А если это так, то на этому балу надо побывать, независимо от того, имеется или нет приглашение. Хотя бы потому, что бал в эти жуткие для станицы времена представлялся таким чудовищным явлением, был так невероятен, что из-за этого одного стоило на него посмотреть... Уже у правленья-«ревкома» стал слышным какой-то неясный неумолчный шум, точно через огромную веялку, с ровно тарахтящими в бешеном движении решетами, пропускали шелестящее при падении зарно... Но по мере приближения, все чаще стали выделяться из него другие звуки, ничего общего не имеющие с веянием зерна. Это был

уже не однообразный шум тарахтящих веялочных решет и ссыпающегося зерна, а неровный гул от топота множества ног по деревянному настилу, с резко выделяющимся из него неожиданным визгливым перебором гармошки и обрывком песенной мелодии на высокой ноте... Но вот и улочка, где квартировал Никифор. Занимемый им огромный курень не надо было искать. Вот он третий с левой руки, весь залитый светом, льющимся из отворенных настежь, невзирая на зиму, окон и дверей, весь сотрясающийся от пляски приглашенных гостей, от взрывов раскатистого неудержимого казачьего «грохота»-смеха, от тоскливой песни, исполняемой пьяными голосами, от ядрёных и сочных, как свежий арбуз, «круглых» словечек — матерщинной ругани, от переливчатого, порой веселого, порой грустного говорка саратовской гармошки, от сыплющейся, как горох, дроби бубна, за которой еле успевали позвякивать его бубенцы... Сострасается, поет, смеется, ругается и «ходит ходуном» в безудержной пляске Никифоров курень, словно обрадовался, что может показать себя не днем, а именно ночью, когда впервые за добрый десяток лет осветился ярко он до последней своей комнатушки и наполнился шумным, веселым, хмельным народом.

В ярко освещенном пространстве улочки — от окон куреня до плетня на другой стороне, толпились, пересмеиваясь и заигрывая дуг с другом, молодые парни и девчаты. Эти постоянные подоконные завсегдатаи станичных пирушек чрезвычайно довольны, что Никифор «загулял». Хоть он даст им возможность насмотреться всласть на танцы, послушать песни и веселый разговор гостей. Сильно соскучились они по всему этому, больше года станица «говела», воздерживаясь от пирушек и даже от безобидных «посиденок». С началом же гражданской войны веселье в станице

окончательно умерло, провалилось в тар-тарары, уступив место панихидам и сорокаустам. И если припадало иногда видеть сильно «выпитого» станичника, то это объяснялось наличием у него какого-либо большого горя... Случалось, конечно, и так, что казак напивался безо всякой видимой причины. Когда его спрашивали после похмелья, почему он вчера «хлебанул и был дюже забурунный», уж не постигло-ль его какое несчастье, он с растановкой, подумав немного, отвечал:

— Знаешь, брат?.. Тоска взяла... Ноить в грудях... сосеть вот тут... под ложечкой.. А почему, спрашиваитца? Чорт ево душу знает!

Тоска... Еще бы не тоска — такое кругом безобразие! Не видать его, уйти от него хоть бы на короткий миг в хмелю, погрузиться в другой мир, где нет ни войны, ни страданий, но есть пьяная радость, беспричинное веселье и главное — надежда забыться от всего. Беда, однако, была в том, что этого главного — забвения всего, казак, выпивая бутылку вонючего самогона или «дымки», не получал и ни на одно мгновение не забывал ничего из того, что толкало его на выпивку. Выходило, наоборот, совсем другое: тоска его усиливалась еще более, окружающая действительность выпячивалась в еще более мерзостном виде и ему не оставалось ничего другого, как разъяряться, впадать в зверство и нещадно крушить все, что попадалось под пьяную руку. Смятенная и гибнущая в потемках душа его металась в поисках выхода и не находила этого выхода — нет спасения казачьей душе, зашедшей в тупик, как нет ни настоящего веселья, ни естественной радости, а тем паче забвения от хмеля станичного изготовления!

Вот у Никифора Кащеева иное дело. Тут о горе или о тоске не может быть и речи. Тут налицо гордость собой, торжество победителя над контр-рево-

люцией — и кто знает? — может быть и настоящее счастье. Вот он, красавец-казак, в полном расцвете сил, беспрестанно закатывающийся в безудержном смехе, обнажая ряд великлепных белоснежных зубов, поблескивающих под черными, в колечко закрученными, усиками... Щеки красивого мужественного лица его горят полымем радостного возбуждения... Блестящие от выпитой дымки, прекрасные, азиатски-черные глаза его, все время прищуренные от непокидавшей его улыбки, задорно, насмешливо и слегка презрительно, — очевидно от чувства собственного превосходства, — окидывают горницу, полную народа... Он сидит за столом вместе со своими гостями. Но и сидя — он весь движение и огонь. По давнишней привычке, так хорошо знакомой станичникам, он часто встряхивает головой, от чего чуб его над левым ухом, черного как смоль волоса, тоже покорно встряхивается, не теряя при этом своей пышности. Руки его ни на минуту не остаются в покое. В широких властных жестах, они как бы дирижируют собранием, извлекая из него, подобно настоящему дирижеру с его оркестром, то бурный заразительный смех, то отдельные одобрительные возгласы, то почтительное молчание, когда Никифор давал знать повелительным броском руки со сжатым кулаком, что он хочет говорить... На нем был великопепного покроя офицерский китель песочного цвета с гладкими, без погон, плечами. Ряд металлических, звездочками блестевших при огне, пуговиц — все, по иронии судьбы, с гербами низверженной революцией империи, — был расстегнут сверху-до-низу и позволял видеть белоснежную рубаху, аккуратно вобранную в широкий, голубого цвета, сетчатый от машинной прошивки, атласный пояс казачьих шаровар...

Рядом с ним, по обе стороны, сидели его ближайшие помощники — младший урядник Самофалов и

приказный Кадычкин, с самого начала восстания станицы переметнувшиеся к большевикам. Рослый, с богатырской грудью Самофалов, в противоположность своему командиру — яркий блондин, с белесыми-льняными волосами и совсем белыми ресницами маленьких глазок, потонувших в глубоко запавших орбитах среди вздутых щек пухлого и красного сейчас от хмеля лица, обычно бело-розового цвета, с длинными, немного свисавшими по-хохлацки, желтыми от табачного дыма, усами, с раздвоенным подбородком, указывавшим, что шутить с его владельцем было рискованным делом для шутника, все время «грохотал» и нелепо размахивал огромными, как травянки, кулачищами, часто задевая ими за расставленную в хаотическом беспорядке на столе посуду, что, впрочем, нисколько его не смущало и заставляло грохотать рявкающим, каким-то утробным басом, еще больше... Невзрачный рыжеватый Кадычкин, низкорослый, но плотно сбитый казак, с тупым выражением грубого лица и серьгой в мочке левого уха, держал себя спокойно, не грохотал, как Самофалов и Никифор, а молчаливо и бессмысленно ухмылялся, часто поднося ко рту стакан с мутным самогоном и обязательно закусывая после каждого глотка соленым помидором. Что поражало в нем, это его удивительная способность пить и не пьянеть — он только покрякивал, «бурел», выгоняя на лицо краску и, как ни в чем не бывало, деловито продолжал накачиваться, все время сохраняя твердую осанку и отчетливость движений. Другой на его месте давно валялся бы под столом, что, к слову сказать, и случилось кое с кем из гостей, менее устойчивых, с жадностю набрасившихся на пьяное пойло и пренебрегавших закусывать после выпивки отрезвляющими солеными огурцами, «баклажанами» или «красными яблочками» и капустой... Оба Никифоровы

соратника, подобно всем красным казакам кар - отряда», были в обычных военных гимнастерках-хаки, туго, без единой складки обтягивавших их могучие торсы — фигуры их казались вылитыми из бронзы и оставляли впечатление силы и какого-то непосредственного изящества, граничившего с показным щегольством.

Бал был в полном разгаре.

Большая горница с длинным столом вдоль одной из стен, уставленным бутылками с самогоном и всевозможной закусью, за которым сидело «красное начальство» и почетные гости — бородатые старики-отцы и родственники переметнувшихся к большевикам фронтовиков, — в остальной своей части, освобожденной от столов и стульев, представляла собой «танцевальный зал», где сплошною, человек в тридцать толпой, дружно притоптывая в такт музыки, «наяривавшей польклю», отчего дрожал весь курень, кружились, мешая друг другу, распарившиеся от тесной духоты, возбужденные и, видимо, счастливые пары. Большинство «кавалеров» были Никифоровы казаки. Станичных парней было всего несколько человек из немногих семей, «приявших» новый режим и своим присутствием на балу открыто заявлявших об этом приятии. В «барышнях» чувствовался явный недостаток — всего с десяток девчат все из тех же пробольшевистских семей. Зато казачек постарше, в том числе и нескольких старух, было больше. Часть из них, помоложе, с сияющими от выпавшего случая развлечься восторженными глазами, с пылающими щеками часто прекрасных лиц, с застывшими в улыбках губами, положив руку на плечо своих «кавалеров», пользовавшихся теснотой и позволявших себе разные вольности, самозабвенно отдавались веселью, раскрасневшиеся и от этого становившиеся еще более привлекательны-

ми, старательно выделывавшие танцевальные фигуры и превшие каждая в трех кофточках и в стольких же, если не больше, юбках, надетых ими до́разу ради «паратнего» случая и отчаянно портивших их стройные без того станы... Старухи, засучив рукава, хлопотали в стряпке, без конца перетирали посуду и наблюдали, чтобы закусь на столе, куда они, с трудом пробираясь сквозь топчущиеся в танце пары, то и дело наведывались, не убывала. Поочереди, с миской замороженного студня, двумя-тремя порезаными тонкими ломтиками картышами сала, появлялись они перед сидящими за столом гостями и с улыбкой, раскланиваясь, ставили угощение, приговаривая:

— Извеняйте, дорогие гостюшки. Чем багаты, тем и рады. Кушайте на здоровьичко. Кабы не эти кадеты разные, рази-б так угостили вас? Го́ря одна с этой войной. И чево вы все воюите, казаки? Нет, штобы жить мирно да ладно...

— Обожди, старая! — рявкал Самофалов, потрясая кулаками - травянками. — Всю изничтожим белую гвардию! Всем решку наведем! Вот када загуляем!

— Го-го-го! — пьяно грохотали его соседи.

— Правильно! Всем рахунку дадим! — встряхивая головой, смеялся Никифор. — Белопогонники сычас у Донца чешут. Дали мы им чосу, долго будуть помнить. Вчерась донесение из района получил. Гуляй наша!

— А случа́ем, не возвернутся они? — не то с опаской, не то с тайной надеждой спросил старик, дядя Самофалова, сидевший напротив племянника. Он мял в ладони жиденькую бороденку и прищурив глаза, посматривал на Никифора.

— А случа́ем — не ждешь ли ты их Самойло Ми-

халыч? — впился взором в старика Никифор, сразу переставший смеяться.

— Што ты, што ты, Никифор Андреич! — оторвал старик руку от бороды и широко раскрыл глаза — в них просвечивали недоумение и испуг. — Рази я потому спрашиваю? Мало мы, сродственники... ривалю... ревалюции... — запутался Самойло Михалыч, — ... ну, скажем, што в красную гвардию пошли за трудовой народ... мы, можно сказать... пострадали за эту самую линею... А ты попрекаешь...

Самойло Михалыч говорил неправду. Никого из родственников бежавших к большевикам казаков в станице не преследовали. Никифору это было известно и он с раздражением бросил в лицо старику:

— Чорт вас разберет, старых хрычей! Никому из вас нельзя доверять. Сейчас ты с нами компанию водишь и дымку пьешь, а завтра белякам помогать будешь. Знаю я вас. Все вы контры.

— Христос с тобой, Никифор Андреич! Да рази... — растерянно протестовал ненашутку напуганный старик. — Я-вить... тово... Спроси хочь мово племенника... Штобы я насупротив власти ишел? Христос с тобой!

— Ладно, ладно, — попрежнему хмуро проговорил Никифор. — Вот обождите трошки, отгуляем — примусь я за вас. Всех перетрясу.

Никифор отстал, наконец, от старика, глотнул самогону и закусывая капустой, поманил пальцем черноусого казака, кружившегося с дородной белотелой, все время смеющейся казачкой. Гладко причесанные белокурые волосы ее, с белевшим по средине пробором, были собраны на затылке в большой, утыканный шпильками, ком. Казак остановился, вопросительно смотря на своего «товарища командира».

— Выпей, Сема, — налил ему полный стакан Ни-

кифор. — Да не дюже цалуй свою кралю — вонючая дымка-то.

«Краля» закатилась в неудержимом смехе.

— А мне, Никифор Андреич, поднесешь? — сквозь смех спросила она.

— Ай, выпьешь?

— Само собой — выпью.

Казачка схватила пустой стакан и протянула его Никифору.

— Лей! — задорно крикнула она. — До краёв!

— Вот так баба! — с восхищением воскликнул Никифор, глядя, как казачка, закинув голову, не морщась, цедила самогон. — Ну, теперь цалуйтись, от обоих одинаково вонять будет! — расхохотался он.

В горнице стоял невообразимый гвалт. Гудел досчатый пол, мелкой лихорадочной дрожью сотрясались стены, вздрагивали фитили больших десятилинейных ламп, реквизированных в домах «богачей» во время описи и наполненных настоящим «гасом» - кересином, найденным у бежавших лавочников; звякала посуда на столе, когда сидевшие за ним гости, в порыве чувств, слишком усердно чокались и давили в руках хрупкое стекло стаканов; под низким потолком повис неумолкаемый гомон голосов и в нем было все: и дружный, неожиданно вспыхавший грубый мужеской «грохот»-хохот; и одинокий чувственный женский вскрик, вслед за которым каскадом рассыпался, постепенно снижаясь и становясь от этого грудным и более приятным смешок — то казачка, в увлечении танцем, под несомненным влиянием всеобщего, какого-то шалого веселья, впадала в экстаз; и отдельные выкрики захмелевших казаков, подзадаривавших танцоров; и изощренно - грязная ругань - матерщина, от которой спиралось дыханье — то два собеседника, сидевшие по обе стороны стола, навалившись на него и давя грудя-

ми тарелки, с багровыми лицами, с налившимися кровью глазами, потрясая кулаками, убеждали в чем-то друг друга и, наконец, слившийся в общий шум, постоянный и более ровный, веселый разговор и казаков и казачек...

Но всю эту звуковую вакханалию покрывала царица всякого бала — музыка... Пронзительно заливалась в необычайно быстром, захлебывающемся переборе саратовская гармошка. Ее колокольцы, слышные повсюду, отчетливо отзвякивали ритм и это они передавали его в такт притоптывавшей, танцующей толпе. Петька - «постовал», инвалид германской войны, был этим удивительным музыкантом, которому повиновались все. Он сидел на табуретке в дверях соседней комнаты — в горнице не было места— и, наклонив попорченное немецкой картечью бледное, в сине-багровых шрамах, лицо, в одной нижней рубашке с расстегнутым ожерелком, взлохмаченный и скучный, неутомимо бегал пальцами по несложной клавиатуре своей гармошки, извлекая из нее по заказу любую мелодию. Петьку за его тихий нрав и безотказную готовность придти на любую вечеринку, где нуждались в его услугах, любили в станице, жалели за увечье и всячески выявляли ему сочувствие. Это нисколько не меняло главной черты характера Петьки — его природной меланхолии. Он всегда был грустен, что бы ни происходило вокруг него и это казалось странным — ведь, в сущности, он, меланхолик, был источником всякого веселья и он неизменно присутствовал на всех танцульках и не потому, что он был единственным гармонистом в станице, а потому что он хотел этого сам и иногда сам напрашивался придти с гармошкой, хотя его и не звали. Но в общем, этот его постоянный грустный вид и постоянное веселье, какое он всегда приносил с собой, как то уживались. Может быть, вечно

грустному Петьке хотелось и стало, в конце концов, необходимостью хоть посмотреть на веселящихся людей, подышать их воздухом, насыщеным довольством и радостью жизни, как раз тем, чего у него никогда не было? Весьма возможно... И сегодня веселящееся красное казачество не обошло своим вниманием несчастного Петьку — изуродованного инвалида и меланхолика по натуре... Почти каждые четверть часа к нему подходил кто-нибудь из казаков со стаканом дымки в одной руке и с соленым огурцом в другой, подходил и делал знак. Петька, не переставая «наяривать», поднимал голову, раскрывал рот и глотал «чудóк» вонючей жидкости, осторожно, из опасения «испортить музыку», вливаемой заботливым «товарищем». Таким же манером откусывал Петька кусок огурца на закуску. Музыка от этой операции «не портилась» — с такой же удивительной быстротой бегали Петькины пальцы по клавишам, так же отчетливо отзванивали такт колокольцы и им вторил ритмический топот откалывавших польку гостей...

Скрипач — самоучка Лешка Кутырев, по-уличному — Кутырь, ничем не походил на Петьку — ни характером, ни игрой. Был он веселым молодым парнем, не вкусившим еще ни одной войны и с детства научился пиликать на «скрипице». Скрипку ему добыл на ярмарке у цыгана отец, долго разглядывавший «струмéнт» — он даже прикладывал скрипку к уху, точно хотел убедиться чем она дышет — и тоскливо прикидывавшого в уме, как бы уломать цыгана сбавить трошки, ишь какую назначил цену — целковый! Да шут с ней, с этой музыкой! Но вспомнил про Лешку и, не раздумывая больше, почти не торгуясь, забрал покупку, твердо уверенный, что цыган все равно его надул. Так оно и вышло. Скрипка оказалась дрянной, как все лошади, продаваемые цыганами, оказывались,

обычно, калечью. Чего-то в ней не хватало — и звук глухой, и струны то и дело ослабевают и никак их не натянешь потом, колки́, должно быть, отпускают... Смык — ничего себе, хотя этой... «канихволи, што-ль?» нигде не раздобыть, в округ надо за ней ехать. А без нее все едино, что на неподмазанной арбе ехать по кочкам — «скрып» один и никакого удовольствия... Если прибавить к этому, что Лешка Кутырь ни в какой консерватории не был, а достиг всего сам, в меру отпущенного ему уменья, то и получится, что музыкальные вещички испольняемые Лешкой не всем нравились. Заунывные песни, медленные вальсы, вроде «Дунайских волн», еще кое-как выходили. Но когда приходилось «частить» — в казачке, например, в гопаке или в польке — тут Лешкины пальцы оказывались недостаточно гибкими и в результате было чорт знает что, но не музыка — «скрып» неподмазанной арбы... Но Лешка, как настоящий музыкант, раз навсегда уверовавший в свой талант, не унывал и если вовне музыка его была не на большой высоте, то в нем самом она звучала так, как он слышал ее под окнами купца Гаврилова из граммофонной трубы... Петька — полстовал и гармонист — приспособил Лешку для совместных выступлений на шумных и многолюдных торжествах — свадьбах, проводах и «кстинах» у местных богатеев, на радостях задававших «пир горой». Народу много, выпивки тоже, если Лешка сфальшивит — не беда, по пьяному делу сойдет, а музыкального шума будет больше... К Лешке привыкли, вместе с обязательным Петькой звали и Лешку, когда затевали танцульку.

Третьим музыкантом — был и таковой — оказался смуглый и веселый Никифоров казачек. Играл он на бубне. Но как играл! Конечно, Петькина гармошка по достоинству занимала первое место в станичном оркестре. Но на худой конец, казалось, можно было бы

обойтись и без нее, при непременном условии, однако, что играть на бубне будет этот вот юркий, вертлявый, чернявый — настоящий цыган! — с белыми, блестящими в постоянном оскале зубами, казак. Это был артист Божьей милостью. Дробь его бубна, то усиливающаяся, то замирающая, непостижимо частая, сыпалась из-под его пальцев, еле касавшихся туго натянутой кожи, непрекращающимся гороховым шумом, сопровождаемым мелодическим позвякиванием бубенцов, едва уловимым в общем шуме, но переходящим в резкий звяк, когда увлекшийся музыкант в восторге встряхивал бубном и сильно ударял по его поверхности всей ладонью... Бубнист стоял рядом с Петькой и весело пересмеивался с танцующими парами, проплывавшими мимо него. Временами, не нарушая такта, он ударял бубном по плечу, а то и прямо по голове какого-либо танцора и весело скалил зубы, когда тот отрывал руку от талии дамы, хватаясь за ушибленное место...

В горнице было душно, как в бане. В ней, как и во всех комнатах куреня, установился непередаваемый словами дух от сборища в тесном помещении множества людей. Прилипчивый неприятный запах вспотевших тел, перемешанный с запахом керосиновой гари от коптивших фитилей ламп, едкий махорочный дым, с самого начала вечеринки повисший под потолком, сивушный, тошнотворный душок от самогона, выдыхаемый опьяневшими гостями... После первого же танца настежь отворили все окна, куда, как из печки в трубу, устремился табачный дым. Но и отворенные окна не помогли. Возбужденная пляшущая толпа «поддавала» такого «жару», что и стоявшему на дворе крещенскому холоду не под силу было его заглушить.

Зато кучка любопытных, запрудившая улочку и вся состоявшая из молодежи, получила возможность и видеть лучше и, главное, слышать. Вместе с подмы-

вающей пронзительной музыкой, вырвавшейся на простор и ставшей слышной за несколько кварталов притаившейся в ночной мгле станицы, вырвался и весь гвалт и шум, спертый в курене. Ясно доносился бывший глухим топот танцоров, стали слышней выкрики захмелевших казаков, звонкий смех казачек... Около одного отворенного на улицу окна видны были два старых казака, положивших руки на плечи друг другу и раззявя заросшие бородами рты, во всю глотку, пьяными голосами, нескладно и в униссон, тянувших песню. Несмотря на шум, до улицы долетали слова песни:

Вот гря-а-нет слава трубой
Мы за Дунаем за рекой.
Турк-салтана побядили,
Християн освободили.
Мы по горочкам лятали,
Наподобье саранчи,
Из берданочков стряляли
Все донские казаки.
Как курей ваших индюшек
Перведем всех до пера,
А детей ваших — марушек
Заберем всех до плена.

Большинство подоконных зрителей были мальчишки, во что бы то ни стало решивших посмотреть как гуляет Никифор. Кое-кто из них ушел из дома тайком, другие с разрешения родителей, желавших иметь подробные сведения о бале: много ли было народу и кто был, весело ли было и как вели себя «красные товарищи»... Несколько девчат — этих притягивали танцы — зябко кутались в пуховые платки... Мальчишки, с жадным любопытством смотревшие на залитый светом курень, все были в валенках, а на плечах имели кто что — и собственные короткие, до колен, шубенки и отцовские полушубки, укрывавшие их

до пяток. С папашка́ми на затылках, с горящими глазами, молодые казачата слушали все, что доносилось из куреня, ничего не пропуская, все подмечая. Можно было быть уверенным, что утром станица до тонкостей узнает все о бале «красного казачества»...

Музыка вдруг оборвалась, прекратился и топот. Из окон несся теперь неумолчный рокот людских голосов со вспышками смеха и отдельными восклицаниями. Был перерыв, необходимый всем: и танцорам, отплясавшим бесконечно тянувшуюся польку — любимый танец на всех казачьих пирушках, — а потом вальс, исполняемый на казачий манер с притоптыванием и сильным прижиманием к себе «кавалерами дам», неумело скользивших по полу неприспособленными для «городского танца» женскими чиричками, и музыкантам — даже привычному неутомимому Петьке с его саратовской необходимо было дать передышку. Лешкина скрипка окончательно расстроилась и он, высунув язык — признак крайней озабоченности, — старательно закручивал колки и, дергая натягивающиеся струны, настраивал свое цыганское наследие...

У стола большое оживление. Двумя рядами перед ним стояли освободившиеся от своих дам «кавалеры» — радостно оживленные, все с растегнутыми ожерелками, с вожделением посматривавшие на целую шеренгу только что поставленных бутылок с дымкой. Раскрасневшийся веселый Никифор, сильно захмелевший Самофалов и совсем пьяный Кадычкин — ничем, однако, это не обнаруживавший, разве только тем, что он совсем замолк и перестал тупо ухмыляться, — разливали по стаканам водку и угощали всех. Стаканов не хватало, пили поэтому поочередно, покряхтывали, закусывали капустой, перекидывались шуточками с сидевшими за столом и отходили. В то же время трое казаков, каждый с большим подносом в руках, с насы-

ганными на них горками изюмских пряников, конфект в разноцветных бумажках с «махорчиками» на одном из концов, грецких и обыкновенных орехов — целый ящик этого добра был обнаружен у купца Гаврилова, не могшего при бегстве забрать все с собой, — расталкивая хохочущих товарищей, угощали сластями «дам», ахавших при виде такой роскоши. Но из жеманства, несмотря на настойчивые уговоры угощавших, довольствовались одним пряником или двумя-тремя орехами.

— Бери, бери, — не стесняйся! — уговаривал казак особенно застенчивую казачку. — У нас всево этова горы. Да еще не все обсмотрели. Гутарють — Мирон пять пудов схоронил разных канфет с мармеладом. Обнаружим, — уверенно добавлял он.

Около музыкантов стайкой гуртились девчаты, пощелкивая орехи и луща медовые арбузные семечки, принесенные из дому наиболее запасливыми из них. Они тормошили Петьку, меланхолически курившего на табурете крученку, с гармошкой на коленях.

— Петя, сыграй нам страданью, — просила одна из них, худенькая, с осиной талией, в зеленом — не по сезону — платье, должно быть, единственном в ее гардеробе, с узкими рукавами и большими буфами на плечах.

— А страдать будешь, Стеша?

— А то чево-ж? Буду!

— Ну, тада можно.

Петька выплюнул окурок, закинул за плечо ремень и растянул, звякнув колокольцами, гармошку. Раздалась несложная, весьма распространенная мелодия «страдания», игравшаяся на всех вечеринках и просто на улицах, когда развеселившаяся молодежь, будя станицу, выходила из душных помещений на свежий воздух.

Стеша положила руки на бедра, подмигнула, улы-

баясь, подружкам и звучным контральто запела знакомые всем, несвязные между собой, в каждом стишке выражающие самостоятельную мысль, частушки — соборное творчество на долгих зимних посиденках.

Хорошо тада купаться
Када теплая вода,

уверенно затянула Стеша. Небольшой хор девчат дружно подхватил в один голос:

Хорошо в тово влюбиться
Кто не бросит никада.

Говор в горнице притих. Казаки, посмеиваясь, слушали девичью «страданию».

Посмотри, милый, на небо
На такую высоту,

звенел под аккомпанимент Петькиной гармошки чистый, на редкость приятный голос Стеши.

О тебе я, милый, сохну
За твою я красоту,

подхватывали девчаты.

Вышивала я платочек,
Буквы редко ставила.
Я мальчишку лет в шешнадцать
Полюбить заставила.
На лугу сидит ворона
Кормит вороненочка.
Потеряла-потеряла
Свово я миленочка.
Я сидела у ворот
Пробежал теленочек.
Я ево за хвост схватила —
Думала миленочек.
Ах миленок, ты теленок,
Глазки тебе заплевать.
Просидел ты целу ночку
Не сумел поцеловать.

Кольцо моя золотая
На полу валяетца.
Кто моей ноги не стоит
Тот за мной шалаетца.

Около певших девчат выросла вдруг статная фигура Никифора. Заложив руки в карманы шаровар, потряхивая головой, широко улыбаясь, он слушал девичий хор, любуясь Стешей, нисколько не смутившейся присутствием самого Никифора. Так же задорно, как в самом начале, она заводила все новые стишки бесконечной народной поэзии и, казалось, что она могла бы петь до рассвета. Но всему приходит конец. В меру послушав девчат, публика потребовала от музыкантов «вдарить казачка». Петька послушно перешел с певучей «страдательной» мелодии на жгучую музыку любимого народного казачьего танца. Лешка, настроивший скрипку, попискивал, еле успевая за темпом, где-то на верхах, в то время как Петька, растягивая свою коротенькую гармошку до отказа, извлекая из нее все, что она могла дать пронзительного, звенел колокольцами и проявлял чудеса техники в частейшем переборе клавишей, особенно басовых. Затарахтел, засыпал горохом бубен, отчетливо звякая всеми своими бубенцами и издавая вдруг глухой барабанный гук, когда вошедший в музыкалный раж бубнист с силой хлопал им по голове или по коленям в тех местах, где требовалось особо подчеркнуть танцевальное колено. И пошло... Расчистили круг посреди горницы, все стали вдоль стен, только за столом остались старики с Самофаловым и Кадычкиным. Да они и не могли подняться с мест, кроме разве Самофалова, до того упились... Под загремевший оркестр по кругу вьюном вертелся тот самый Сема, которому Никифор советовал не очень целовать свою «кралю». Он походил на одержимого с той разницей, что все его

ужимки, прыжки, прищелкивания каблуками, волчок на согнутой ноге, «пришепётыванье» и «чечеканье» — все это вместе взятое оставляло большое впечатление, так-как все подчинялось музыке и, как музыка, было ритмично и красиво. Публика с восторгом любовалась ловким танцором, подбадривала его криками, вроде: «поддай жару, Семен!» — «покажи казачью развязку!» — «знай наших!»... Женская половина особенно красноречиво выражала свое восхищение — все казачки и девчаты звонко смеялись, а стоявшие из них в переднем ряду, чуть-чуть приседая в такт музыки, смеясь и крича одновременно, то махали сверху вниз сжатыми кулаками, то поднимали их над головой и хлопали в «ладошки»...

Кто-то увидел смотревшего на пляску Никифора и заорал во всю глотку:

— Ники-ифор! Ники-ифор! Казачка!

И скоро весь зал сотрясался от криков:

— Никифор! Никифор!

— Просим!

— Никиша! Казак ты, аль нет?

— Уважь, Никифор Андреич!

Каза́чки, как одна, захлопали в ладошки, музыки за всеобщим шумом почти не было слышно. Сема, только-что вызваший восторг своей пляской, стоял перед Никифором, мокрый как мышь и жестом приглашал его на средину круга.

Никифор поломался ровно столько, чтобы убедиться, что желание присутствующих было совершенно искренним. Оно таковым и было, настолько оно было единодушным. Да ему и самому хотелось сплясать, но начать без вызова, как Сема, он не хотел, это было не совсем удобно. Как-никак, он сейчас был первым лицом в станице и выскакивать, навязываться в своем роде, не годилось, хотя он и был уверен, что в казач-

ке у него не было равных. Положение обязывало чуточку выждать.

Под удовлетворенный гул собрания, добившегося своего, Никифор, не скрывая удовольствия на сиявшем в улыбке лице, встряхнув головой и подняв в характерном для танцора жесте обе руки вверх, выпрыгнул на средину горницы.

— Ширше круг! Ширше круг!

— Подайся там!

— Потеснитеся, бабочки!

Все попятились, пожались к стенам, значительно увеличив танцевальную часть горницы. В центре ее, раскинув в обе стороны на высоте плеч руки, закинув назад голову, выжидая момента, стоял Никифор. Он был великолепен. Пришел его час, когда все взоры устремлены на него, когда все ждут от него чего-то необычайного и он знает, что это необычайное он может дать. Смуглое, с восточными чертами, счастливое лицо, с горевшими от проступившего румянца щеками, с тонко очерченным — с горбинкой — носом, под которым чернели, будто тушью нарисованные, небольшие, с колечками на концах, усики; застывшая широкая улыбка, обнажавшая ряд нетронутых ядреных белых зубов; расстегнутый офицерский китель, ловко сидевший на нем — ни на плечах, слегка округленных, ни на спине ни одной складочки; белоснежная рубаха, атласный синий пояс шаровар с алыми лампасами, офицерские же, хромовые, ярко начищенные сапоги, поражавшие небольшим, почти детским размером головок: все это было до того красиво, что все застыли в восхищении. У казачек, чувствительных к мужской красоте, заблестели глаза. Не выдержав, они захлопали...

И вот тут, уловив такт, Никифор, руки-в-боки, пошел в традиционной пробежке, которой начинается ка-

зачек. Но как пошел! Поплыл, а не пошел. Еле касаясь пола, часто и совершенно бесшумно перебирая ногами, с неподвижным при этом, плывущим корпусом, Никифор стал обходить круг.

Было нечто восточное и в этой необычайной танцевальной пробежке у Никифора. Так танцуют, завораживая зрителей, лезгины и черкесы. Но у тех, кроме грации и их удивительно плывущего скольжения в мягких, без каблуков, ноговицах, ничего другого не было. В этом — и только в этом — состояла вся их лезгинка — очаровательная зарисовка одного, вне всякого сомнения, самого главного и самого красивого танцевального момента... Не то было у Никифора в его казачке. Кроме такой же грациозной, чисто кавказской пробежки, было у него много моментов, где восточная пластика уступала место огню буйного, какого-то стихийного казачьего размаха... Вот он, описав круг, снова в центре его, продолжая на месте перебирать ногами. И вдруг, гикнув, бросив руки с бедер вверх, он, не сходя с места, с поразительной отчетливостью сделал несколько «цыркулей», приседая и быстро вскакивая, с твердо вытянутыми и широко раставленными ногами. И потом, неожиданно для всех, упал на левую, согнутую в колене ногу и дав всем корпусом начальное движение, завертелся на ней с добрых полминуты, как кубарь... Момент — и то же самое в обратном направлении, на правой ноге. Это был любимый Никифоров, чисто цирковой номер, всегда вызывавший бурное одобрение. Так было и сейчас — зал грохнул от восторженного рева зрителей.

— Вот это танцор!

— Вот как надо плясать, ядрена-матрёна!

Каза́чки отбили все ладошки... А Никифор уже стоял, согнувшись вдвое и ловко, в такт, отзваниваемый колокольцами саратовской, под дробь бубна, щелкал

ладонями по голенищам сапог, по голове, рука об руку... Это длилось недолго и, видимо, служило вступлением к новому, более интересному номеру. Вот Никифор снова на пританцовывающих ногах, новый широкий взмах рук и встряска головой, повторенная чубом и Никифор, упав на согнутые колени, понесся по кругу в неподражаемой по естественности присядке. Присядка... Почти у всех танцоров, даже самых замечательных, при ее исполнении чувствуется какое-то напряжение, выявляемое в той или иной форме. Есть танцоры, которые держат перед собой переплетенные руки, красиво и ловко выбрасывая высоко вперед ноги. Получается картинно, но ненатурально. Скрещенные руки, приподнятые в локтях на высоте лица — это способ сохранить нужное в присядке равновесие корпуса, оно совершенно необходимо для тех танцоров, кто прибегает к нему, иначе не произвести хорошего впечатления. Но такие танцоры вынуждены держать руки в одном застывшем положении. И это бросается в глаза и невольно снижает качество присядки в целом... Ничего подобного не было у Никифора. Он несся в присядке, как будто это был естественный для него способ передвижения, с непринужденно-свободным и прямо стоящим туловищем, с говорящими, можно сказать, руками в их постоянном движении, повинующимся музыкальному ритму танца, с радостным лицом, с счастливой улыбкой артиста, знающего что то, что он исполняет сейчас, прекрасно...

Такую точно оценку он и получил от зрителей. Снова загудел зал от восхищенных восклицаний, снова захлопали в ладошки казачки. Проносясь в присядке мимо Стеши, запевавшей «страданье», Никифор приостановился на мгновенье и вдруг, вскочив, выхватил ее из бабьих рядов и кружа, увлек на середину зала. Бросив ее там, он той же своей, Никифоровой,

присядкой, начал описывать вокруг нее круги, прищелкивая пальцами обеих рук и обдавая ее жаром горевших черных азиатских глаз. Стеша не растерялась. Подобрав подол зеленого платьица, размахивая утиркой в свободной руке, наклоняя то влево, то вправо головку с гладко причесанными и заплетенными в две косы русыми волосами, кокетливо улыбаясь, она пошла-поплыла по кругу.

— Ширше круг!

— Эх, гуляй наша!

— Кра-са-та! — раздались восхищенные возгласы.

Танец с участием Стеши принял иную форму и наполнился новым содержанием. Началось любовное ухаживание кавалера, встретившего на первых порах мягкий, но решительный отпор со стороны возлюбленной. Только после целого ряда удивительных номеров влюбленного танцовщика она сдалась наконец, не устояла перед его настойчивыми изъявлениями любви. Вот Стеша ушла от Никифора далеко по кругу. В два акробатических пируэта Никифор настиг ее и снова закружился в присядке, умоляюще протягивая к ней руки. По женски грациозно пританцовывая, изгибаясь тонким станом, с пылающими от румянца щеками, вся сияющая от радости, игриво помахивая утирочкой, Стеша отрицательно качает головой. Нет, нет, нет, — говорит вся ее стройная фигура и чтобы доказать это, она круто поварачивается и лукаво улыбаясь, уплывает от огорченного Никифора в другой конец. Никифор входит в раж. Хмурый на этот раз, скрестив на груди руки, он делает сложный перебор ногами, потом вскрикивает, поворачивается вправо, влево, делает «цыркуля», вертится волчком в обе стороны на согнутых ногах, вкратце, словом, показывает

все, на что он способен и все это лихо, ловко, ни на секунду не оставая от музыли и не нарушая такта.

Это любовное неистовство вызывает бурю восторгов. Зрители возбуждены до чрезвычайности — они кричат что-то несвязное, смеются счастивым смехом, топают ногами, оглушительно хлопают в ладони... Эх, какая удаль! Эх, какой размах! Как хорош Никифор в своем — его — казачке! Сколько широты, сколько лихости в его движениях, сколько прелести в этой мечущейся фигуре, нераздельно слитой ритмичеки со звуками гремящего оркестра с его колокольчиками и бубенчиками!.. Ширше круг, ширше круг!.. Гуляй казачья душа, как умеешь только ты гулять, когда радость бытия переполняет тебя через кра́й, когда ты счастлива и горда от того, что можешь выразить вовне все свои переживания и передать их другим! Ширше круг, потеснись народ, дай место развернуться казачьей душе! Ширше круг!..

Публика была покорена. Сдалась и Стеша. Пританцовывая в другом конце все время, пока безумствовал Никифор, она, не переставая помахивать утиркой, но уже без задора, какая-то робкая и покорная, поплыла ему навстречу. Встреча произошла на средине круга. Стеша остановилась и завертелась перед Никифором, одобрительно покачивая головой, ясно говоря этим: «Ну, теперь другое дело — твоя взяла». Никифор встряхнул головой, блеснул в улыбке зубами и с длителным: «ги́-и-и...», торжествующе понесся вокруг покоренной Стеши в своей удивительной присядке.

Танец окончился. Успех был потрясающий и искренний. Плясал не командир конного отряда красной гвардии, которому льстиво могли хлопать его подчиненные, плясал Никишка Кащей, с юности удивлявший всех станичников своей ловкостью и в казачке считавшийся непревзойденным, настоящим артистом...

Сделали перерыв, потом снова плясали казачка, но уже без Никифора. Выступали хорошие плясуны, вроде отрывшего танец Семы. Были акробаты, начинавшие пляску с прыжка на руках через голову, были такие, кто стоя вниз головой, выделывал в воздухе ногами удивительные колена, заставлявшие «грохотать» публику... Сунулся было, чтоб показать казачью развязку, полупьяный дедок, топнул раз два на месте, запнулся, покачнулся и махнув рукой, под хохот молодежи, отошел прочь. Куды-там старому угнаться за молодыми!

К двенадцати ночи бал, проходивший доселе прилично, перешел в настоящий разгул. Постепенно, незаметно, по настойчивому требованию матерей, все девчаты — и с ними Стеша — исчезли. Остались казачки, не боявшиеся разгула да те из них, кому он не мог грозить — три-четыре старушки, безуспешно старавшиеся уберечь посуду. Последней угрожало полное уничтожение. Пьяный Самофалов, покачиваясь и гогоча, обеими руками поднимал большую глиняную миску с кислой капустой и срозмаха бросал ее на пол. Летели черепки и шматки капусты, всплескивала в ужасе Ивановна — хозяйка куреня, а Самофалов, распялив пасть, сотрясался весь в утробном басовитом хохоте, счастливый, что нашел забаву по душе...

— Да чево-же ты бьешь посуду-то, нечистый? — чуть не плача, кричала Ивановна.

— Га-га-га! — грохотал Самофалов. — Я нонче все дочиста сокрушу! — орал он на весь курень. — Все! Такая моя ризалюция!

Он сгреб несколько тарелок и пустых бутылок, стоявших по краю стола и смахнул все это на пол.

— Идол нечистый! — ругалась уже Ивановна. — Набил скло, а теперь плясать будешь, окровянисси весь, анчутка лохматая! Нализался, шут-те забери!

— Не горюй, Ивановна! — качаясь и размахивая кулачищами, утешал старуху Самофалов. — Завтыря цельный воз доставлю тебе этова добра... Вот... запрягу тарантас... и п-поеду по... по б-багачам... У одново пристава.. на цельную арбу хватить... И не глиненая... а понимаешь, Ивановна?.. крустальная. Понимаешь?.. Все наша теперича, все! Пожили буржуи по... п-пожжрали из хорошой посудки... теперича наш... мы, тоисть, по-покушаем... наша.. так сказать, очередь... Знай наших!

Среди поднявшегося гвалта, неумолчного, все возроставшего шума голосов, залихватской музыки и пьяного пения, доносившегося не то из стряпки, не то из прихожей, раздались вдруг сразу несколько винтовочных выстрелов. Шум на минуту притих, но сейчас же возобновился с новой силой — все хохотали: стреляли с крыльца пьяные товарищи, так, из-за ничего, чтобы выразить необычным способом свой восторг. Стреляли залпами, стреляли частыми очередями, стреляли в одиночку... Жарь, ребята! Патронов в красной гвардии хоть отбавляй, не то, что в белой, сражавшейся с охотничьими берданками и шомполками... А нука, еще разок!

В темных, скрытых мглою, казавшихся спящими, но не спавших куренях, под хриплый лай разбуженных стрельбой псов, ворочались беспокойно старики.

— Застреляли, сволочи, — ворчали они, успокаивая напуганных старух. — Гуляют, проклатые... Вот и гуляют в белый свет, как в копеечку... Празник у ихнево брата...

Самойло Михалыч, дядя урядника Самофалова, проспавший добрых два часа, несмотря на творившийся вокруг содом, упавши кудлатой седой головой на стол, очнулся, когда хмель стал понемногу проходить. В голове его шумело, звенело в ушах, во рту стоял

противный запах вонючей дымки, язык не повернуть от вязкой слюны... Осмотрев осовелыми глазами горницу, он опять опустил было голову, бессознательно собираясь заснуть, но тут слуха его каснулась пальба и крики снаружи. По какой-то странной ассоциации идей, он эту пальбу связал с угрозой Никифора «перетрясти» стариков и мгновенно пришел в себя.

— «Надо тикать», — подумал он, с трудом поднялся и пошатываясь, стал пробираться к выходу.

На крыльце толпились хохочущие казаки с винтовками, постреливашие в «темный свет» ночи, будоража собак. Стараясь не зацепить их, старик добрел до рундука, чуть не упал на нем, спустился по невидимым приступкам на баз... Надо было пройти в летнюю кухню, там свечеру положил он свои полушубок и папаху. А вот куда она делась эта самая летняя кухня, шут ее знает... Со свету в курене — ничего не разобрать на базу. Стой, никак огонек! Налево, совсем близко, неясно мерцала светлая точка.

— «Вот она кухня-то», — обрадовался Самойло Михалыч. — «Каганец горить, это очень даже хорошо, враз одёжу найду».

Не тут-то было. На столе, на лавках, на полу лежали груды дубленых шуб и полушубков, каганец еле мерцал, по углам небольшого помещения пряталась чуланная темь — где там найти свой полушубок? Папаху тоже. Самойло Михалыч припомнил, что он засунул ее в рукав полушубка, там она, стало быть, и находится в полной безопасности, но «разышши ее, клятую!». А тут старик неожиданно убедился, что он, хоть убей, решительно не помнит куда именно положил он свою одежу, в уголок ли какой, на стол ли.

— Э-э, все едино, надену какой попало... Завтря обменимся.

Самойло Михалыч схватил первую попавшуюся

ему шубу, с трудом напялил ее на себя, нащупал чей-то малахай, укрыл им всю голову с ушами и, довольный, поплелся домой.

Через полчаса трудного и медленного пути очутился он перед большим куренем с наглухо затворенными ставнями. Какое-то внутреннее чутье подсказало ему, что это как раз тот курень, куда ему обязательно надо было зайти, прежде чем добраться до своего двора. Он пошарил рукой по досчатым воротам, ища калитку. На базу, гремя цепью, залаял пес.

— «В точку попал», — обрадовался старик. — «Полкан брешеть на чепи, значитца, я там, иде мне следоваить быть»...

Калитка была не заперта. Не обращая внимания на яростно лаявшего кобеля, Самойло Михалыч поднялся на крылец и постучал в дверь.

— Хто там? — тотчас раздался извнутри слабый голос — хозяин не спал.

— Отложи, Михей Степаныч, дела есть! Это я, Самойла!

— Незаложено, входи.

Когда Самойло Михалыч, повозившись в темноте с щеколдами, вошел в темную комнату, его приятно охватил теплый дух от горевшей подземки. Направо, где стояла кровать, крахтя подымался, невидимый в темноте, Михей Степаныч.

— Ты лежи, Михей Степаныч, лежи... Я начас... Вот, доложу зачем... значитца, пришел и тово... домой...

— Гутарь, Михалыч.

— Уграживаить Никифор... Был на пиру... пировал у нево... Ко мне пристал, перпужал во как... Грабитца до стариков... Гутарил: всех перетрясу... Я-вот и пришел... тово... упредить. В случáе чево...

— Да ты присядь-ка, Михалыч, к столу да порас-

кажи с толком, с расстановкой в чем суть дела, — пригласил Михей Степаныч.

Самойло Михалыч оторвался от дверной притолоки, сделал в кромешной темноте несколько неуверенных шагов, натолкнулся на стол, нащупал лавку и с наслаждением сел. В комнате было тепло, уютно и до того спокойно после Никифорова ада, что старика, как говорится, сразу «развезло». Положив локти на стол, он силился удержать голову на ладонях рук... Его неодолимо обволакивала сонная одурь и не в силах бороться с ней, Самойло Михалыч покорился — голова его, с напяленным до ушей чужим малахаем, стала быстро опускаться и остановилась только тогда, когда легонько стукнулась лбом о крышку стола...

— Ну, расказывай, Михалыч, чево там было у Никифора, — проговорил Михей Степаныч.

По голосу было слышно, что старик сидел, а не лежал на кровати.

— Чево там задумал Никифор?

Вместо ответа в темноте послышался легкий, с тонким присвистыванием, храп. Самойло Михалыч, сраженный дымкой, разомлевший от тепла жарко натопленной комнаты, мгновенно заснул пьяным непробудным сном.

VI

Весь следующий день, такой же хмурый как и предыдущий, для станицы, получившей самые подробные сведения о Никифоровой пирушке — мальчишки продрогли на холоде до самой стрельбы, вынудившей их разбежаться — прошел в обычных заботах, сведенных зимним временем к самому малому, да в бесконечных пересудах баб, ненасытно распрашивав-

ших очевидцев про бал. Михей Степаныч только утром, когда опьяневший от самогона Самойло Михалыч наконец проспался, смог подробно расспрасить об угрозах Никифора. Умный старик спокойно, как всегда, взвесил все слова, брошенные Никифором по адресу стариков и пришел к убеждеию, что от такого гордеца можно ожидать всего. А посему, не теряя времени, Михей Степаныч решил навестить кое-кого из своих друзей, чтобы совместно обсудить создавшееся положение. Предупредив дочь — вдову зятя, убитого в германскую войну, жившую с детьми у него, — что он придет к обеду, Михей Степаныч в теплом овчинном полушубке и валенках, с костылем в руках, тронулся в обход «дружков».

Для участников бала день, наоборот, оказался тяжелым. Никто из них не выспался — какой сон днем после ночного, до утра, бодрствования, да какого притом? У всех трещали головы — «дымка» мстила за ту жадность, с какой ее уничтожали, — всем неможилось, у всех было «муторно», погано на душе... По одиночке, злые и недовольные, казаки красного отряда собрались в обед на Накифоровом базу. Горница приняла обычный вид, все столы и венские, с выгнутыми спинками, стулья стояли на своих местах, пол был вымыт — Ивановна, наводившая порядок, с негодованием подгребала черепки и стекло от разбитой Самофаловым посуды... Никифор, как все, невыспавшийся и злой, выйдя из спальни в горницу, хмуро приказал Ивановне подать самогону и приготовить закуску.

— Капусты побольше, — добавил он.

— Капусты много, цельная бочка... и арбузы моченые есть, — сказала, выслушав приказ, Ивановна. — А вот водочки пошти-што нету.

— Как нету? Куда-ж она подевалась?

— Всю вылакали, прости Господи. Несусветно пи-

ли, хто хотел, — ворчливо говорила Ивановна, оправляя завеску. — Каб порядок был, половина осталась бы. Я-б по рюмочке всех угостила и будя, а там ишо по одной... — начала было развивать свой план старуха, но ее перебил Никифор, заоравший!

— Самофалов, чорт! Иде ты?

— Вот я! — послышался снадворья утробный бас Самофалова и скоро сам он, стряхнув с сапогов снег — слышно было как он топтался на крылце — предстал перед Никифором.

— Чево изволишь, товарищ командир? — спросил он.

В маленьких глазках его искрились веселые огоньки, когда он оглядывал Никифора.

— Не досмотрели, черти! — ругался Никифор. — На похмелье не оставили дымки. Три ведра высадили!

— Да ты не горюй, — басил Самофалов. — Я уж отправил разъезд на Стародонский. Чувашин — Петро Петрович гонить дымку. Видал ево надась. Пшанишная, дюже крепкая, говорить...

— Ребяты, — добавил он, — што ничас должны возвернуться.

— Ага, это хорошо, — одобрил Никифор и увидав Ивановну, несшую из стряпки миску с капустой и две бутылки, обрадованно вскричал:

— Чево-ж ты, старая, гутарила, што нету водки? Ну-ка, налей по стаканчику!

— Больше нету, — поставила старуха бутылки на стол. — Осталася ишо одна, так она для караульных, што в правленье, как наказывали вчерась.

— Тащи ее суды! — загрохотал Самофалов. — Караульные ничево ночью не пили, похмеляться им некчему.

Трех бутылок, по полстаканчику кождому, хватило на всех. Казаки, отряхая снег, входили в горницу,

выпивали свою порцию, закусывали капустой и сворачивая цыгарки, обменивались впечатлениями об удавшейся вечеринке. Все знали, что вот-вот прибудет подкрепление, в виде двух-трех ведер свежего самогона и все надеялись, что гулянка, так хорошо начавшаяся вчера, возобновится вечером. Пока же от выпитого каждым полстакана стало легче, хотя этого было слишком мало, чтобы окончательно придти в себя.

— А где Кадычкин? — спросил Никифор.

— Он спить ишо, заходил к нему — как убитый, — грохотнул Самофалов. — Он один с полведра выпил вчерась. Утробишша, бочка без дна, сколькя ни лей, все мало.

— Пошли разбудить. И штоб сычас пришел — дело есть, обсуждать будем, — начальнически распорядился Никифор. — А вы, ребятешь, уберете коней, не расходитесь... Быть в готовности.

Казаки переглянулись, но не спрашивали что да как — хмурое лицо Никифора не располагало к этому. Они молча вышли на баз, в горнице с Никифором остался один Саммофалов.

— Чево надумал, Никифор? — спросил он.

— Об стариках — контрах. Решил заарестовать кой-ково, первых заводчиков, — ответил Никифор. — От них вся смятения. Жили-б владу со всеми, не будь их. А то как в хохлацкой слободе какой, бутто мы не казаки, а чо́рти-што...

— А чево ты с ними делать будешь? Как поступить с ними? Ну, заарестуешь? А опосля? — засыпал вопросами удивленный Самофалов.

— Обожди, обожди, Иван, не лотоши. — замахал руками Никифор. — Казнить не буду, хоть и не жалко заряда — на всех хватило бы. В тюгулевке держать тоже не сбираюсь — еше большая смятенья выйдет.

Атакуют бабы, возись с ними, — зло усмехнулся он. — Я их, старых чертей, отправлю в район. Пущай там комисары разговариваютъ с ними.

— В Калач?

— А то куда же? — вопросом на вопрос ответил Никифор и добавил: — Кабы не свои, сам бы их пустил в расход. Не посмотрел бы, што старики. Господа старики, — с издевкой и ненавистью проговорил он.

— Только ты, Иван, никому ни гу-гу, — строго сказал он Самофалову и опасливо обернулся — не подслушивает ли Ивановна? — Надо их накрыть, ково порешим, штоб не сполохнулись.

— А ково ты надумал?

— Об этом покалякаем, када придет Кадычкин.

Кадычкин не заставил себя ждать. На невзрачном лице его остались следы от ночного пьянства, невзирая на продолжительную «отсыпку» — оно было помято и какое-то неестественно пухлое. Но туповатая ухмылка его сохранилась, с нею он и поздоровался с Никифором и Самофаловым.

Совещание началось немедленно. По предложению Никифора было решено: граждан станицы — Михея Степаныча Слепухина, Андрея Семеныча Шевырева, Максима Михалыча Королева, Потапа Тимофеича Маринина и Корнея Федотыча Брёхова, за контрреволюционный саботаж, выразившийся в открытом неповиновении советской власти и натравливании населения на чинов красной гвардии, — имелись в виду бабьи выступления во время описи, — арестовать и направить, как вредный элемент, в распоряжение районного военно-революционного трибунала, на предмет предания их суду.

— Не погладють их по головке в Калаче, — ух-

мыльнулся Кадычкин. — Разговор там короткий. Сам видал, када гонял арестованых.

— Кабы поп не убег, можно было-б сычас панафиду по них заказывать, — загрохотал было Самофалов, но увидев, что Никифор нахмурился от его шутки, перестал смеяться.

— Увидим, што будет, нечево заране хоронить их, — нехотя промолвил Никифор. — Вы вот понаблюдайте, штоб все без запинки. Свечерéет — ровно в семь часов стариков схватить и доставить, в чем есть, в ревком. Назначьте по три товарища на кажнева, при полной боевой. И без церемониев!

— Да сычас не говорите ребятам в чем дело. Када будете посылать, тада и скажете.

В комнату вошел один из казаков, посланных Самофаловым за самогоном.

— Привез? — спросил, не дав ему открыть рта, Самофалов.

— С ведро будет, — ответил, улыбаясь, казак. — За остачей велел завтря прислать.

— Вот здорово! Гульнем ишо! — заревел во всю глотку Самофалов. — Как ты, Никифор, а? Гульнем?

— Гульнем, Иван, — в первый раз рассмеялся Никифор. — Скажи бабке, штоб тащила на стол, што у ней есть. Пополднюем с водочкой, а там и за музыкой можно будет послать.

Было далеко за полдень, когда в Никифоровом курене заиграла гармошка и пошел пляс — пьянка возобновилась. Гуляли на этот раз в холостой компании, ни одной казачки, кроме прислуживавшей старой Ивановны, не было. И было от этого много шумней, несдержаней и грубей. Густо повис под потолком вместе с табачным дымом мат, грохотали чаще и громче, чем вчера, слушая похабные анекдоты казака — специалиста по этой части, не посмевшего бы рассказывать

их при женщинах. Плясали расхлябанно, с циничными жестами, вызывавшими у быстро пьяневших казаков бурные взрывы смеха... А вот две-три песни — старые, служивские — спели очень хорошо. И за это многое можно было простить распоясавшимся красным казакам. Нашелся подголосок, жаворонком взлетавший и плакавший на верхах, гудел мощный бас Самофалова на низах, песни исполнены были умело, с чувством и тем очарованием, какое способны дать только казаки, когда они «играют» - поют свои прекрасные песни...

Весть о том, что Никифор снова загулял разнеслась по станице и дошла до Михея Степаныча. Старый казак умехнулся и довольно покачал головой. Он только что вернулся из обхода «дружков», после обмена мнений решивших выждать. Если «товарищи» загуляют опять — можно, значит пока быть спокойными — не до них будет Никифору. А за это время можно будет что-то предпринять. В случае-ж нужды, схорониться на степных хуторах тем из них, кого Никифор особенно не долюбливал, как скажем, самого Михея Степаныча, поставившего Никифора, тотчас по приезде в станицу, на свое место и осрамившего его перед всем сходом. Слух прошел, что Никифор грозил расправиться и с Брёховым-Корней Федотычем, сказавшим при народе, что Никифор-де как был арестантом, так им и остался и командует такими же арестантами... О себе Михей Степаныч не думал. Он твердо порешил никуда не уходить и не хорониться — будь, что будет... А вот за старика Брёхова он сильно побаивался и настойчиво советовал ему поскорее уехать из станицы.

— Уезжай, Корней, уезжай немедля. Злой Никишка и гордец он. Запомнить што — не забудить.

— А сам-то ты как же, Михей? — спрашивал

Брёхова. — Вить, Никишка тебе при всех угрожал на майдане.

— Обо мне, Корней, не тужи — никуда не пойду, стар больно. А ты помоложе, ишо поживешь да и семья в тебе нужду имеить. У меня-ж — другая статья — один я на свете... И дети все поустроеные...

Старик Брёхов поддался уговорам старого испытанного друга и пообещал выехать на Осинки, к зятю, сейчас же после полдника.

С темнотой, когда Никифоров курень вновь осветился огнями и когда похмелье грозило превратиться в разгул, подобный вчерашнему, Никифор подозвал Самофалова и сказал:

— Пора, Иван. Выпущай тройки. Да накажи, штоб не дюже шебаршили, када будут арестовывать. Небось, пьяные вдрызг?

— Не-е, — замотал головой Самофалов. — Будь спокоен, Никифор. Трошки выпитые, пошти-што тверёзые все. Я им отдал приказ, када наряд делал, блюсть пропорцию, потому — важная задания.

— Голову оторву, ежели што, — пригрозил Никифор. — Скажи им, што они и стеречь будут стариков ночью. Кто за старшева?

— Взводный Панфилов.

— А-а... Покличь ево суда.

— Панфилов! — взревел, покрывая шум, Самофалов. — К товарищу командиру!

Панфилова в курене не оказалось. За ним побежали. Скоро, слегка запыхавшийся, перед Никифором стоял красивый парень, с живыми серыми глазами, с небольшим белокурым чубком, выбивавшимся из-под лихо заломленной папахи.

— Ты все понял об чем толковал тебе товарищ Самофалов?

— Точно так, товарищ командир!

— Када приведете всех в ревком, ты будешь начальником караула. Если упустишь ково ночью — голову оторву, так и знай. Всех в тюгулевку, до ветру не выпущать, часовой у дверей и óкнов снаружи. Караульным не давай спать — быть наготове. С товарищами, што в ревкоме, у тебя будет двадцать человек. Стрелять, ежели поднимется тамáша. Понял?

— Так точно, товарищ командир!

— Теперь ступай. Постой! — остановил Никифор Панфилова, отчетливо, по военному повернувшегося, чтобы идти. — Брать всех кто в чем есть, не валандаться с переодевкой — дубленка, валенки, шапка и все. Накажи родным доставить из бельишка-што, а также харч, пораньше утром, как рассвенет, в ревком. Када все сделаешь, доложи. Иди!

Панфилов вышел, маня за собой пальцем то одного, то другого из казаков, толпившихся в горнице.

Оркестр был неполным в этот вечер. Лешка Кутырь, по неопытности, слишком много хватил вчера «дымки» и теперь, совершенно больной, отлеживался дома. Петьке с его саратовкой аккомпанировал один бубнист и то только до вечера — Панфилов, уходя по получении приказа от Никифора и его поманил за собой пальцем — бубнист попал в наряд. Петька остался один. Сидя на своем табурете, меланхолически наклонив обезображенное лицо, он «наяривал» все, что ему заказывали. Когда заказов почему либо не поступало, он наигрывал что-то протяжное и тоскливое, вполне соответствовашее его постоянному душевному настроению.

Несколько стариков из вчерашних гостей сами, без приглашения, пришли опохмелиться. Самойло Михаэыч благоразумно отсутствовал. Когда Панфилов увел пятнадцать казаков, это не прошло незамеченным — горница наполовину опустела.

— Куда это пошли товарищи-казаки? — спросил Самофалова один из стариков, за стаканом самогона разговаривавший с соседом о «предбудущем» урожае.

— На кудыкин двор, — рассмеялся Самофалов. — Кочетов ловить, баб дражнить... Служба такая выпала.

Никифор почти не разговаривал. Смеялся вместе с другими, но не было у него вчерашнего заразительного веселья и казачка́, как его ни просили, наотрез отказался плясать. Он что-то обдумывал и чего-то ждал. Однако, по уходе наряженых с Панфиловым казаков, он вдруг оживился.

— Петя, сыграй «Серёжу»! — закричал он. — А я подтяну.

Петька послушно заиграл убогую, из трех коротеньких музыкалных фраз состоявшую песенку, сложенную в станице про «Окалелку» — бойкую бабувдову, тайно переторговывавшую водкой и явно утешавшую всех, кто искал у нее утешения...

Никифор запел приятным баритоном:

Окалелка померла,
Се-рё-жа,
В воскресенье в три часа,
Ну-к што-жа.

Все хохотали. Никифор продолжал:

Окалелку хоронили,
Се-рё-жа.
В рот ей луку накрошили,
Ну-к што-жа.

А в это время почти одновременно, в разных местах укутанной тьмой станицы, хрипло и зло забрехали псы. Через короткое время из тех мест, где не переставая лаяли собаки, донеслись, приглушенные расстоянием, воющие женские крики... Потом все стихло и до самого утра ночной покой ничем не нарушался,

если не считать залихватского перебора саратовской гармошки с колокольчиками, хохота и пьяной песни, прорывавшихся иногда из ярко освещенного куреня, где квартировал командир конного отряда красной гвардии — красный казак Никифор Кащеев.

VII

Вопреки опасениям Никифора, никакой тама́ши у ревкома, по приведении туда арестованных стариков, не было. Ночь прошла совершенно спокойно, только до самой зари повсюду лаяли псы. Это было понятно. Слух об аресте четырех стариков — Брёхов во время уехал на хутор к зятю, как обещал Михею Степанычу — с быстротой молнии разнесся по станице. Из куреня в курень, с базу на баз, из уст в уста передавалась поразившая всех новость. Темные фигуры казаков, по-две-по-три, стояли на улицах и потихоньку, шопотом, обсуждали событие. Это-то вот бесшумное таинственное передвижение и беспокоило псов и они, верные собачьему долгу оповещать обо всем подозрительном, исполняли свое дело с рвением честных неподкупных сторожей. На самой заре, однако, какое-то движение, — вскоре, впрочем, прекратившееся, — было слышно на окраине станицы. Тарахтели, будто, колеса, фыркали лошади, раздавались негромкие людские окрики... Если бы Никифор не гулял и если бы он обо всем думал, конные патрули его полусотни, посланные на дорогу у Пахатного, ведшую к степным хуторам станицы, завернули бы назад до двадцати подвод со столькими же стариками, покинувшими свои курени и выехавшими в холодную, по зимнему неприветливую, степь искать спасения.

Вторую ночь своего «загула» Никифор провел без

сна. До самой зари в курене царил такой невообразимый содом, что нечего было и думать об отдыхе. Когда же, наконец, все угомонились и Петька с своей гармошкой ушел — всех танцоров повалила где и как попало «пшанишная дымка» Петра Петровича Чувашина с хутора Стародонского, — забрезжил рассвет. Никифор, накинув на плечи полушубок, вышел подышать свежим воздухом. Из головы у него не выходила мысль о старике Брёхове, так во-время ускользнувшего от ареста.

— «Кто бы мог упредить ево?» — думал Никифор, вернувшись после короткой прогулки по двору и освежая лицо ледяной водой.

— «Это Самойла!» — мелькнула вдруг у него догадка. — «Не иначе, как он. С ним я сцепился позавчёра на пьянке. Он!» — уже твердо решил Никифор.

Первой его мыслью было сейчас же послать казаков и арестовать Самойла Михалыча. Но он вспомнил, что Самойло Михалыч родной дядя верного его помощника Самофалова.

— «Чорт!» — выругался про себя Никифор. — «Придется обождать, а то Иван осерчает»...

У ревкома, когда туда пришли все трое — Никифор, Самофалов и Кадычкин, стояла кучка плачущих старух с узлами. Ни одного казака. Площадь была пуста, ни души не было и на прилегающих к ней улицах.

«А я боялся, што будет бунт», — усмехнулся Никифор. — «Перпужались, старые черти»...

К нему подскочил с рапортом Панфилов. Все в точности было выполнено, как приказал товарищ командир: стариков замкнули в «тигулевке», до ветру не выпускали, часовые стояли и у дверей и у окон на правленском дворе...

— Выпусти по одному сычас. а то тюгулевку за-

гадють всю, — хмуро приказал Никифор, проходя в атаманский кабинет.

— Иван, — обратился он к Самофалову. — Отбери у баб узлы и передай старикам. Штоб ничево лишнева — пара белья и харч на дорогу. Баб разгони.

— А ты, Серега, — сказал Никифор Кадычкину, — мобилизуй вощика с повозкой. Все одно ково. Шибко! Штоб через полчаса выехали, нечево канитель разводить.

Сначала Никифор собирался погнать стариков пешим порядком. Но пораздумав, решил все же нарядить для них подводу. Не из жалости к арестованным, а из боязни, что вся станица сурово осудит его за излишнюю жестокость и осложнит и без того неприятное положение, в каком находился он со своим отрядом.

Скоро к ревкому подъехала повозка. Возчик, тщедушный старичек — сосед Михея Степаныча, в короткой дубленке, не доходившей ему до колен и перехваченной ремнем, за который подоткнуты были белые шерстяные варежки, в валенках и лисьем, выеденном местами молью, малахае на голове, с длинным кнутом в руках, хлопотливо оправлял сбрую запряженных в дышло пары маштаков, подтыкал сено, второпях набросанное кое-как на повозку и то и дело сморкался наотмашь, вытирая потом нос и усы тыльной стороной ладони... Ездили на повозках. Снега, выпавшего недавно, слежавшегося и державшегося только по низинам, было недостаточно для санного пути. Это было неудобно, так как снег налипал на колеса, колеса часто буксовали и от времени до времени приходилось останавливаться — обивать железные обручи ободьев от твердой и скользкой, как лед, снежной корки...

Баб из семей арестованных Самофалов разогнать не смог. На все уговоры и ругань они отвечали гром-

ким плачем, жались кучкой, но не трогались с места. Одна за другой, одиночками, к ним присоединялись соседки, одетые в ватные пальтишки, с намотанными на головах платками. Когда подъехала подвода, баб набралось несколько десятков. Образовалась небольшая толпа. Все казачки были необычайно молчаливы, стояли неподвижно с поджатыми губами, слушали негромкое причитанье, как по покойнику, старухи Максима Михалыча Королева, которой вторили, громко всхлипывая, осталные родственники пострадавших и смотрели на правленский крылец. Там было большое оживление. К десятку оседланных коней, привязанных по обе стороны крыльца, то и дело сбегали, с винтовками за плечами, красные казаки, гремя по порожкам ножнами шашек. На самом крыльце курили, «чвыркая» слюной за крылечные перила на снег и притоптывая сапогами, очевидно, владельцы коней — их было столько же, сколько и тех. То был наряд для какого-то срочного поручения. Из дверей ревкома часто появлялась на крыльце богатырская фигура Самофалова и тогда слышался его могучий бас. Он ругался, глядя на толпу баб и грозил им кулаками. Но ничего в ответ Самофалов не слышал, кроме слезливого причитанья старухи Королевой.

Что поражало — это полное отсутствие казаков в толпе провожающих. Ни одного старика, даже из немногих семей сочувствовавших большевикам и имевших сынов в рядах Никифоровского отряда. Только женщин выслала станица проводить отправляемих на советское «правосудие» четырех из своих, наиболее уважаемых, граждан...

В стылом воздухе холодного январьского утра раздался с крыльца бас Самофалова:

— Подвода! Подавай!

И вслед затем послышалось торопливое понука-

нье возчика: «но! но!», фырканье лошадей, получивших удар кнута и шум колес — повозка остановилась у крыльца. И сейчас же из широко отворенных на обе половины правленских дверей, меж расступившимися «товарищами», один за другим вышли арестованные. Впереди шел Михей Степаныч — прямой, с высоко поднятой головой. Лицо его, бледное и усталое от бессонной ночи, хранило полное спокойствие — старик был верен себе... Шевырев Андрей Степаныч, низкорослый плотный старик, опустив голову, поглаживал на ходу широкую седую бороду и мрачно, исподлобья, окидывал выстроившихся шпалерами по сторонам крыльца красных казаков злым взглядом воспаленных от бессонницы глаз. Старики Королев и Маринин с трудом передвигали ногами, лица их были изможденно-усталые...

При виде арестованных из бабьей толпы раздались истеричныю крики:

— «Родимый мой»... «да куда же вас увозють» «на погибель гонють, клятые»... И вся толпа глухо загудела гомоном возмущенных голосов.

— Шагайте шибчей, старые хрены! — заревел Самофалов. — Што вы, как дохлые!

Не обращая на Самофалова никакого внимания, Михей Степаныч, перед тем как спуститься по порожкам высокого крыльца, приостановился и держа узелок в обеих руках, низко поклонился толпе. В ответ раздался одиночный протяжный воющий вскрик... Остальные бабы безмолвно плакали, держа ладони у глаз...

Погрузка произошла быстро. Дюжие красноотрядцы поочереди подхватывали каждого старика и почти вбрасывали его в повозку.

— Трогай! — не дав старикам рассесться, закричал с крыльца Самофалов.

Повозка отъехала. За ней, окружив ее, загарцевали на горячившихся конях пятеро всадников.

— Расписку не забудь от товарища коменданта! — крикнул вслед конвою Самофалов. Старший конвоя, в знак согласия, помахал над головою плетью.

Перед самим отъездом стариков на крыльцо вышел Никифор. Еле взглянув на отъезжающих, он повернулся к толпе баб. В глазах его вспыхнул бешеный огонек, лицо передернулось нехорошей усмешкой.

— Ни одново храброва казака, одни бабы, — сказал он Самофалову.

— Душегуб! Христопродавец! Юда! — посыпались из толпы возгласы.

Никифора передернуло. Круто повернувшись, он вошел в ревком.

Свершились. Никифор окончательно перешагнул черту, перегнул палку. Отныне между ним и станицей не могло быць никакого примирения. Всякие соображения родства и свойства, позволявшие надеяться, что дело, в конце концов, не дойдет для обеих сторон до непоправимого — ... «все-таки, как никак, свой», «контры все, а все же пешком по морозу гнать нельзя, все-таки, чорт бы их подрал! свои».., — теперь отпадали. Никаких своих, никакого родства и свойства, друг перед другом встали два непримиримых врага — один вооруженный до зубов и торжествующий, другой в виде запуганной массы безоружных людей, но с ненавистью и еле сдерживаемым гневом в сердце...

Никифору стало известно об отъезде в далекие степные хутора двух десятков стариков. Он матерно выругался и приказал высылать на все дороги, днем и ночью, конные патрули для задержки всех выезжающих из станицы. В результате на другой донь ему сообщили, что исчезло еще с десяток стариков.

— Што вы смотрели, туды вашу растуды! — кричал на своих казаков Никифор.

— Да мы, товарищ командир, никово не видали, — оправдывались те.

И не могли видеть — старики уходили ночью, пешком, бездорожно... Шли в глухую степь, бросали курени, плачущих баб, напуганных детей... Надеялись у родственников, кумовьев и просто знакомцев, найти приют и переждать срок, когда быть может возвратятся настоящие «свои»» и освободят их от произвола зазнавшихся «арестантов»...

— Ничево, не схоронятся, — грозил Никифор. — Через недельку нагрянем на Венцы и на водянки — всех переловим.

Через недельку, однако, дело повернулось так, что самому Никифору и всему его отряду пришлось в срочном порядке покинуть станицу.

Не белые вынудили Никифора уехать из станицы — белые были далеко, — а свое же красное начальство. Через три дня в ревком прибыли политические руководители из центра, чтобы наладить административное управление в станице. А с ними приехал, для ознакомления с настроением на местах сам председатель военно-революционного комитета района, товарищ Машкин. Его, как всех видных местных коммунистов, в народе называли «комисаром». Он был иногородний, по профессии полстовал, с давних пор состоял членом коммунистической партии и сейчас играл не малую роль, налаживая жизнь в «освобождаемых от белобандитов» местностях. Человек этот, пожилой уже, с умным взглядом проницательных глаз, брившийся наголо, за что его прозвали «скопцом», отличался здравым смыслом и решительностью в поступках. Не прошло и двух часов после его приезда, как он уже знал всю станичную обстановку. Между ним и

Никифором в ревкоме произошел короткий разговор, сильно озадачивший Никифора.

— Ты когда приехал в станицу, товарищ Кащеев? — спросил он.

— Неделю назад.

— А половина станицы уже разбежалась, — спокойно произнес Машкин. — Если так будет продолжаться, недельки через две останутся одни бабы да детишки. Кто же на полях будет работать? Ты подумал об этом?

— Убегли контры все! — вспыхнул Никифор.

— Контры ушли с кадетами, — все так же спокойно продолжал Машкин. — Те, что остались — остались жить с новой властью и помогать ей, работая в полях... А за что ты арестовал стариков?

— Как за што? За то, што они отрыто шли против власти, бунт учинили.

— Прямо-таки бунт? Что-же, они стреляли в тебя?

— Стрелять не стреляли, а натравливали народ против нас, — нехотя отвечал Никифор. — Как вредный элемент, я порешил их изъять.

— Ты говоришь, натравливали народ: как это случилось? — допытывался Машкин, не спуская глаз с побагровевшего, плохо себя чувствовашего, Никифора. — Ты какую-то опись делал?

— Делал.

Никифор стремительно вскочил со стула, взял с писарского стола груду исписанных, акуратно сложенных листов бумаги и положил их перед Машкиным.

Машкин пробежал первый лист. На губах его мелькнула улыбка.

— ... «пара нанковых шаровар», «восемь стулов», «разное белье в хорошом виде», «кухонный матерьял — рогачи, ча́пельники, лопата деревянная в хорошом виде, для выпечки пирогов», «две пары обувки, доб-

рые», — прочитал он вслух и откровенно рассмеялся.

— Для чего ты описывал все это барахло?

Политические руководители — три молодых человека в штатском, тоже иногородние, как Машкин, заулыбались.

Никифор вспыхнул.

— Для советской власти все пригодится! — вскричал он запальчиво. — Порядок требует, штоб имения контр-революционеров не пропадала, а шла на пользу трудовова народа.

— Да оно и без описи не пропало бы. Вселим вот в дома убегших царицынских товарищей, они и попользуются всем этим барахлом. А о советской власти ты, товарищ Кащеев, не очень хлопочи. Она без тебя знает, что ей надо, — строго проговорил Машкин. — Разозлил только народ...

— А потом — ты не по праву эту опись затеял. Кто тебя уполномочил ее делать? Как командир воинской части ты должен был защитить станицу от белых и все. Не за свое ты дело взялся, товарищ Кащеев. Никаких у тебя полномочий не могло быть. Это, товариц, пахнет трибуналом...

Машкин уехал. Через два дня прибыл пеший отряд красной гвардии. Матрос, командовавший им, передал Никифору приказ из района. По этому приказу конный казачий отряд во главе с товарищем Кащеевым должен был срочно отбыть в распоряжение штаба пешей красногвардейской бригады, квартировавшего в одном из хуторов близ Калача.

Бесславный отъезд Никифора из станицы вызвал у всех нескрываемое удовлетворение. Провожать его собралась большая толпа и в этой толпе, на этот раз, было не мало казаков. Не скрывая своей радости, они с усмешками посматривали на Никифора, тщетно старавшегося показать, что ему все безразлично. Но вдруг

это показное равнодушие уступило место, с трудом сдерживаемой доселе, ярости. Он гневно посмотрел на довольные лица ближайших к нему стариков, повернулся в седле и протягивая к толпе руку, с крепко зажатой в кулаке плетью, злобно бросил:

— Рано радуетесь, станишники! Я ишо приеду!

— Щасливова, Никифор Андреич! — раздалось насмешливое из толпы.

— ... попутный ветерок!

Кто-то открыто смеялся.

Самойло Михалыч, стоявший в первых рядах, крикнул Самофалову, поравнявшемуся с ним:

— Ванятка, приезжай на побывку!

— Приеду, дяденька, жди! — пробасил Самофалов и перевел коня на рысь, ему махал нагайкой Никифор, ехавший в голове колонны.

VIII

Самофалов, правая рука Никифора, сдержал слово и, действительно, ровно через месяц, приехал в станицу. Но не на побывку...

Стояли мартовские предвесенние дни. Чаще стало показываться солнце. По утрам клубились густые туманы. Морозы прекратились, но тепла еще не было, хотя чувствовалось, что оно не за горами. Неглубокий снег, скупо выпавший в эту бесснежную зиму, — что сильно беспокоило стариков, опасавшихся за урожай, — на глазах оседал, подтаивая от все более греющих лучей и уходил влагой в оттаявшую землю. Горласто и торжествующе каркало воронье в недалеком лесу, весело чирикали воробьи, шныряя по стрехам...

Станица жила трудной жизнью. Над нею повис и не покидал ее гнетущий страх, пришедший с переме-

ной власти. Все жили в постоянном ожидании ареста и ссылки. Правда, после отъезда Никифора никого из стариков не арестовали, наоборот, успокаивали и уговаривали оставшихся заняться подготовкой к весенним работам, обещая, в случае надобности, доставить семена — никто этим уговорам и обещаниям не верил.

— Разговоры разговариваютъ. Много обещаютъ, а потом сгребутъ и в Царицын. А в станицу мужиков понавезутъ. Смотри, сколькя уж их понаехало...

Несколько семей, на самом деле, откуда-то приехало в станицу. Поселились они, как и прибывшие на смену Никифоровых казаков красногвардейцы, в покинутых бежавшими станичниками куренях. Чужаки-вселенцы вели себя, на первых порах, прилично. Но чем дальше, тем с каждым днем становились хуже. Учли подавленное настроение, господствовавшее в станице и быстро обнаглели. Посыпались с их стороны всевозможные требования и в первую ечередь питания и топлива. Того и другого в станице было в обрез, но приходилось подчиняться. Бабы взвыли, казаки мрачнели и в бессильной ярости хватались за бороды... И все же, несмотря ни на что, все считали, что легче было переносить выпавшие испытания от мужиков и красногвардейцев, нежели терпеть издевательства Никифора и его сподручных. Мужики и красногвардейцы это одно, а Никифор — другое. Мужики и красногвардейцы враги и ждать от них сердечного отношения не приходилось. И все требования их, наглые и несправедливые, воспринимались, как неизбежно-должное. Ничего не поделаешь — победители... А вот когда издевается над тобой свой же станичник — «кóлер» получается иной, просто-таки невыносимый. Как хорошо, что его убрали! Где он, проклатый и что с ним и с его «арестантами», «товарищами казаками» сталось?

В один прохладный мартовский вечер дошла и облетела станицу первая и... последняя весть о Никифоре. И какая весть! Привез ее в станицу самолично бывший урядник Иван Самофалов. Можно было подумать, что он приехал навестить своего дядю — Самойла Михалыча, как обещал месяц тому назад, уезжая из станицы. Куда там! Ни о какой побывке тут не могло быть и речи. Тут дело шло... А впрочем, лучше будет рассказать все по-порядку так, как целую ночь рассказывал дяде — Самойлу Михалычу и десятку старых казаков, собравшихся у него вокруг чадившего на столе каганца-жировки сам бывший урядник Самофалов — такой же богатырь со своим утробным басом, но какой-то беспокойный и как бы подавленный...

Вот какая получилась картина из рассказа Самофалова о Никифоре и его верных товарищах...

... По приезде в большой хутор на левом берегу Дона, в десятке верст от Калача — районного центра, полусотня расположилась на постой в пяти смежных куренях окраинной хуторской улицы. Никифор, в сопровождении Самофалова и Кадычкина, приодевшись, сходили в штаб за получением инструкций. Никифор ждал получить нагоняй и заметно нервничал. Но все обошлось по-хорошему. Принимал его начальник штаба бригады, молоденький и щуплый офицерик царской службы — это было видно по всему: и по одежде щеголевато сидевшей на нем, без каких-либо плечевых и нагрудных знаков отличия и по чисто военной выправке, которая приобретается годами и прививается только в военных школах.

— Отлично, товарищ Кащеев, — вежливо, с улыбкой на хорошо выбритом, холеном лице, сказал начштаббригады. — Располагайтесь, запишитесь на довольствие при штабе и ждите приказаний.

И вот почти месяц, решительно ничего не делая

— уход за конями не в счет — полусотня ждала приказа. Никакого приказа не приходило. Несколько раз Никифор ходил в штаб напоминать о себе. Его выслушивали — начальник штаба с обычной вежливой улыбкой, политрук-«комиссар» — вертлявый, черноглазый и смуглый брюнетик, с вьющимися волосами и большим, тонким с горбинкой носом, типичный интеллигент из евреев — суховато и чуточку надменно, но оба ничего определенного не говорили и отсылали Никифора нисчем. Прошло таким образом еще с неделю и казаки, уставшие от безделья, с утра до ночи резавшиеся в карты — в «очко» или «двадцать одно», в «короля», в «носа» и «пьяницу» — заскучали.

— Хочь бы на фронт отправили, надоело до чортиков, — жаловались они Никифору.

Обстановка сложилась странная. Казаки, расквартированные на окраине хутора, до отказа набитого красногвардейцами, чувствовали себя изолированными. Отношение к ним красних гвардейцев было открыто недоброжелательным. Косые взгляды, нехорошие усмешки при встречах, обидные замечания по поводу чубов и щегольского обмундирования... Казаки, верно, резко выделялись в этой разношерстной, плохо одетой красногвардейской массе, состоявшей, как общее правило из добровольцев царицынского фабричного района, все в теплых, крытых сукном военного времени — хаки, полушубках, все в сапогах, ярко всегда начищенных, все с чубами, лихо выбивашимися из-под серых курпейчатых папах, статные, подтянутые и веселые, казаки невольно вызывали зависть у красногвардейца — небритого, одетого в серую затасканную шинелишку, а чаще — в штатское пальто и ватный пиджачишко, непременно черного цвета, в неуклюжих интендантских «танках» - ботинках, с намотанными до колен серо-зелеными обмотками... Никакое сближе-

ние между этими, столь разными по внешности людьми, было невозможно. Красный лампас широких казачьих шаровар вызывал недоверие одних, а невзрачность и неряшливость их самих порождали у других презрение и чувство невольного превосходства... И невзирая на то, что все они стояли за новый порядок, за народно - трудовую советскую власть, идейно, казалось, были единодушно настроены, в быту не могли создать простых товарищеских отношений.

Такую же, если не большую, неприязнь испытывали Никифоровы казаки со стороны казачьего населения хутора. Тут сразу же создалась откровенно враждебная атмосфера и рассеять ее, как это пытался несколько раз сам Никифор, не удалось. Суровый взгляд любого старого казака, поджатые губы казачки и ледяное молчание обоих, когда их спрашивали о «белых», недавно отступивших, а сейчас задержавшихся на водном донском рубеже и отчаянно отбивавших все атаки красных, далеко прорвашихся к югу севернее Калача...

И вот, от этой самой общей неприязни и вытекавшей из нее изолированности, а отчасти и от скуки, вызванной вынужденным бездельем, Никифор загулял. «Дымку» нашли на отдаленном, свободном от постоя войск, хуторке. Началось беспробудное пьянство. В пьяном угаре надеялись красные казаки потопить свою обреченность, неясно сознаваемое ими чувство какой-то непоправимой оплошности, доущенной ими в семнадцатом году, когда судьба поставила их перед выбором — по какой жизненной дороге надлежало идти. В революционном угаре выбрали они тогда новый путь, сошли с проторенной веками казачьей дороги,

оторвались от родного берега, стали «пригребать» к чужому, но ступив на него поняли, что понесли роковую ошибку... Музыки не было, но с утра до ночи из куреней, занятых полусотней, неслась песня — то заунывно-грустная, то широко-раздольная, то забубенно-разухабистая, последняя с присвистом, под топот отплясываемого казачка, с протяжным, пронзительно-завывающим гиканьем...

. . . .

В один из мартовских солнечных дней, в полдень, в курене Никифора, где толпились опохмелявшиеся после очередной попойки казаки и где сам Никифор, в одной рубашке, без сапог, в белых шерстаных чулках, с тяжелой головой валялся на неприбранной постели в угловой комнатушке, служившей ему спальной и курил, прислушиваясь к гомону в горнице, к нему ворвался Панфилов — командир взвода, тот самый, что арестовывал в станице стариков.

— Никифор Андреич! — вскричал он. — В штабу нам решку порешили навесть! Сам слыхал! Комисар нас крыл почем зря!

Никифор выплюнул окурок и приподнялся на локте.

— Жид? — спросил он.

— Не-е.., из русских какой-то... новый, должно. Он на жидка-та как раз и шумел. Я все чисточки слыхал, забег до знакомова телефониста, а дверь открытая и все до капельки слышна...

— Рассказывай! — коротко приказал Никифор, садясь на кровати.

— Голос у русскова резкий. Шумить и кулаком раза два стукнул об стол, ажнык звякнула чевой-та — чи графин, чи чернила.

— Да ты толком рассказывай, чортова клюшня!

— раздраженно вскричал Никифор. — Кота за хвост тянешь — графин, чернила! Об чем разговор был?

— За беспорядок ругал. Вы тут, говорит, б..... развели, под трибунал вас всех надо! Откудова, говорить, у вас казаки эти взялися? В распыл их пустить надобно всех. Толькя и делов, шумить, што пянствують по тылам, на фронт, говорить, калачем не заманишь. Вся эта казачня, говорить, поперек революции стала. Всем им одна цена и белым и красным. Пулю, говорить, им всем в затылок и вся недолга. А вы, шумить, ца́цкаетесь с ними...

По мере того, как рассказывал Панфилов, Никифорово лицо наливалось кровью. Он сорвался с места, бешено схватил валявшийся на полу сапог и сжимая в руке голенище, задыхающимся голосом выдавил из себя трех-этажную матерную брань.

— В распыл пустить? Пулю в затылок, так твою?... — с тихой и от этого еще более страшной яростью заговорил он. — ... Белым и красным?.. Всему доблесному казачеству, выходит?.. Казачне́?.. А-а!.

— Самофалова ко мне! На одной ноге! — крикнул он Панфилову, присев на кровать и суя ноги в узкие голенища шевровых офицерских сапог. — Я им сычас покажу казачню!.. Сволочи!.. Душу вытрясу!..

. . . .

— ... Прибег я тада к Никифору, — густым басом, потихоньку, словно боясь, что его подслушают, рассказывал Самофалов затаившим дыхание старикам, сгрудившимся вокруг стола в полутемной стряпке куреня Самойла Михалыча, — а он, как бешеный. Матить — на чем свет стоить. Одетый, шашку нацеплять, головой все трясёть.

— Седлать! Как по тревоге! Штоб в десять минут отряд был весь ве́рхи! При полной боевой!

Поднялась тама́ша. Разбеглись казаки по базам,

заседлали, винтовки разбирають. С первово база уж выводють, гляжу — на улице строютца.

— Чебо такое, Никифор? — спрашиваю.

— Комисаров поедем тресть, тах иху разэтак! Казачество оскорбили! В распыл нас хочуть пустить!

Што, думаю за история? А полусотня уж вся ве́рхи, выравниваить ряды. Вышли мы, сели на коней.

— Справа по-три! За мной! Рысью! — скомандовал Никифор.

Поскакали по улице к училищу, иде штаб помещался. Красные гвардейцы с базов смотрють на нас, удивляютца — куда казаки скачуть? Все с котелками, кухни дымять, обед, стало быть, раздають. Ну, выскочили на плац, вот и штаб. Часовой, михрютка какой-то, в черном пинжаке, лента у нево пулеметная через плечо, гранаты на поясе — прямо, арсенал! — стоить у ворот. Народу на улице мало, а во дворе гуртятца... Двор большой, двуколки стоять, зарядные ящики — видно это нам через забор, потому — ве́рхи.

— Отчиняй ворота́! — кричить часовому Никифор.

Михрютка, видим, обробел дюже.., взял винтовку к ноге и не двигаетца.

— Отчиняй, тебе говорю, ворота́! — зашумел Никифор и плетью взмахнул, конём на михрютку наезжаить. Смотрим, тот шибко так шмыгнул в калитку и калитку за собой прихлопнул.

— Сами отчиним, коли так, — говорить Никифор и ко мне: — Расхлебень ворота́, Ваня!

Я спрыгнул, бросил казаку чумбур, а сам во двор. Растверяю ворота́, а ко мне уж бежить человек пять гвардейцев, все с винтовками со штыками, караул, значитца.

— За мной! — командует Никифор и первый въезжаить, за ним отряд, колонной по-три, в порядке, как полагаитца.

— Стой! Куда е́дите? кричить один из караульных и винтовку на изготовку — начальник караула, должно быть, был.

— К комисару в гости! — кричить Никифор, а сам смеетца. — Опусти свою берданку, а то кабы не стре́льнула. Пойди доложи комисару. Товарищи-мол казаки в гости приехали.

— Товарищ комисар обедаить.

— Опосля пообедаить. Некада нам, дело спешная.

А уж дошли до угла, завернули — там крылец большой. Я иду пеши, рядом с Никифоровым конем. Вижу — засуетились по двору гвардейцы. На крылец вбег начальник караула, товарищи ево стали у порожков, винтовки держуть у пояса, штыками к нам.

— Никифор, — говорю тихонечко. — Зря мы в двор вперлись, беды бы не было. Смотри, говорю, на гвардейцев, как муравли заснували.

А Никифор махаить казакам, крылец обводить рукой. Обступили крылец.

— Комасара! Товарища комисара просим! — зашумел Никифор.

— Комисара! — шумнул и я, а за мной весь отряд:

— Комисара! Комисара!

Выскочил на крылец какой-то командир ихний в кожаной куртке.

— Чево вам, товарищи-казаки? — спрашиваить.

— Комисара нам надобно начасок, дело есть, — отвечает Никифор. — Покличь-ка ево.

Смотрим, наш жидок-комисар, а за ним двое — начальник, стало быть, штаба, офицеришка царский, белый, как стенка и ишо один, тоже в куртке кожаной нараспашку, крупный такой, белесый, навроде меня и ростом, пожалуй, как я, чудочек, можить, пониже.

— Товарищи-казаки! — закричал наш комисар -

жидок. — Как вы смеете такой беспорядок заводить? Што вам надобно? Какие претензии заявляите?»

— Даёшь войну! — зашумел во всю глотку Кадычкин. — На позицию хочем! Надоела нам эта волынка!

— Даёшь войну! — как один зашумели ребята.

— Товарищи-казаки! — обратно закричал жидок, но ево подсек Никифор:

— Ты помолчи трошки. Тебя мы знаем. Мы хочем погутарить с комисаром, што тебя крыл за нас с час назад.

И вот тут, третий-та, крупный товарищ — без шапки он был, виски белые на голове нечесаные, как живой стоить, оттолкнул жидка — посторонись, мол — засунул руки за пряжку, куртка кожаная растегнутая, а на пряжке кобура с наганом... — и стал спускаться по приступочкам. Сошел на-земь, отстранил рукой гвардейца с винтовкой и прямо к нам. Остановился — шагов десять от нас было — и резко так зашумел:

— Кто, говорить, атаман этой шайки?

Никифора как ветром сдуло с седла. Глядим, а он уж перед белесым, головой трасёть, чуб ажнык колыхается. И смотрють друг на друга, обои рослые, Никифор чудок помельче, но ширше в грудях. Ну, думаю себе, — конец комисару пришел. Ежели Никифор затрес головой — быть такому делу.

— Я командир этова отряда красной конницы, — заявляет Никифор. — Чево, говорить, тебе от меня надобно?

— Хороший отряд! И ты, говорить, командир, хорош! Под расстрел вас всех за нарушение дисциплины! — зашумел белесый, смело так смотрить, видно, ничево не боитца. — Красная конница, а ведете себя, как бандиты!

Толькя-што сказал он про бандитов, как рука Никифора сама схватилась за шашку. Белесый комисар выхватил наган да не успел им попользоватца. Сверкнул палаш на солнушке и комисар упал назад, толькя руками успел взмахнуть — голова ево, как арбуз, лопнула пополам, белые виски враз красными стали... С Никифором, када он осерчаить, шутки плохие... Все эта в один секунд случилося, моргнуть не успели.., што значит горячим-то быть... Вижу, черняевенький жидок сигает по приступкам, в руке наган держит. «Это он Никифора хочить», подумал я да скорей за шашку. Кинулся, секанул ево, чуть башку не снес, видал, покель он падал, как она отвалилась и повисла, чудок, выходит, не досек. Да вышло, што и я запоздал, как толькя-што белесый комисар — жидок-та успел срельнуть. Оглянулся я, а Никифор бочком на земé лежить, пальцами грязь скребеть, а из уха у него кровь хлыном бьеть. Эх думаю, готов Никифор!.. Заварилась тут такая каша — не рассказать. Замельтешились гвардейцы, застреляли и из училишши и сзаду, со двора. Коней пoпереранили, бьютца на земé, казаки ног из стремен не вытянуть.. Гляжу, Кадычкин убитый лежить, недалече от Никифора. «Один остался», думаю. Казаки с шашками наголо вертютца по двору, секуть гвардейцев... Вскочил я на Никифорова коня — свово в такой тамáше некада было искать — и принял командование над отрядом, как старший после Никифора.

— Втикай, ребяты, шумлю. На улицу! На улицу!

Потому, как куропатков перстреляют нас всех во дворе. Кинулись наутек, а ворота запертые. Ах, так твою!.. Покель отчинили — ишо казаков пять поранило, попадали. Толькя-што начали выскакивать, сгуртились в воротах, чесанул от двуколков пулемет... Не помню уж, как очутился на улице. Карьером вылетели из хутора, обгляделись — десять человек всево...

До вечера в балке одной просидели, а ночью — кто куды, разъехались... Вот она как дела обернулась. Ошибку Никифор понес — не надобно было въезжать во двор этот самый.

— Главную ошибку понес Никифор, — заметил Самойло Михалыч, когда Самофалов замолк: — Не надобно было вопче в штаб этот ехать.

— Не-е, дядя, ты не говори. Не мог Никифор, должо́н был поехать. Што-ж, выходить, надобно терпеть, када оскорбляють казачество?

— А ты как же теперича, Иван? Куда думаешь? — спросил Самойло Михалыч.

— А вот уж и сам не знаю, куды податца. К красным возврату нет, там мне решка, пуля по мне плачить... К белым — душа не лежить. Да тоже по головке не поглядють...

— А можить и нет. Я-б тебе такой совет дал: развидня́ется — дуй на Венцы. Тут оставатца никак невозможно — утром сцапаить тебя гвардия, полроты у нас стоить. А на Венцах перебудешь у свата — Семён Трофимыча, он не откажить, выручить. Да и ты ему помощь окажешь, в случа́е чево, по хозяйству. Сеять пора... На Венцах красных нету. А там, обсмотрисси, валяй к кадетам.

— Опять, значитца, «ваша благородия?» — усмехнулся Самофалов. — Отвык я, дядя.

— Гляди сам, тебе видней, а тут тебе нельзя, заарестують, — говорил Самойло Михалыч и видно было, что старику очень хотелось, чтобы племянник поскорей уехал. — Я тебе харчишков на дорогу приготовлю. А ты, пока-што, поспи часок. Устал, небось? Да и конь отдохнёть... А конь-то хорош! Вот на каком бы поездитца!

Imp. P.I.U.F., 3, rue du Sabot — Paris (6e)